

литературный журнал

Человек на Земле

Voll Verdienst, doch dichterisch wohnet
Der Mensch auf dieser Erde.

Friedrich Hölderlin

Много заслуг у человека земного,
Но жив он только в поэзии.

Фридрих Гёльдерлин

1
МОСКВА
2012

Главный редактор — **Татьяна Сурганова**

Редакционный совет:

Владимир Бурлаков

Сергей Гонцов

Елена Русакова

Редактор рубрики «Поэзия» — **Максим Крайнов**

Художник — Вивиан дель Рио

Фотопортрет Евг. Витковского — Наталия Верди

Фотопортрет А. Кубатиева — Людмила Синицына

Фотопортрет Виктора Плавнева
(В. И. Ламанова) — Алексей Климов

Фотопортрет Г. Шевченко — Екатерина Косяненко

Автопортрет Татьяны Морозовой

Фотографии авторов из личных архивов

Редакция выражает благодарность
Владимиру Зинченко и Татьяне Янчур
за спонсорскую поддержку номера

© Идея номера и состав Т. В. Сурганова, 2012

© Авторы журнала «Человек на Земле», 2012

© Дизайн журнала «Человек на Земле», 2012



Обращение к читателям

«ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» — название книги Всеволода Алексеевича Сурганова о писателях-«деревенщиках», написанной свыше тридцати лет назад и ставшей прочной классикой. Русская деревня нынче стареет, спивается, исходит, переселяется в города, приспосабливается к фермерскому хозяйству, обустраивается дачниками, приезжими издалека. Да и городская улица моего детства со скрипучим — под бабушкиными валенками — снегом, с травой и бревенчатыми домами, с лужайкой, на которой отец учил не падать с велосипеда, — исчезла с лица земли, подобно сотням загубленных деревень. Живя на той улице, я твёрдо знала, что самое лучшее на Земле — люди, а самое дорогое для них — другие люди и Земля. Жаль, что улицы больше нет: как было бы радостно не слышать о ядерных взрывах, о войнах, о таёжных пожарах, о разливах нефти, о мусорных свалках, заметных из космоса, о неисчислимых мучениях людей и Земли. Узнай о том Фёдор Иванович Тютчев, называвший почву всепоглощающей и миротворной бездной, что бы он сказал?

Может быть, Земля и рада бы от нас освободиться. Может, и терпит нас только потому, что время от времени, не очень часто, сквозь омерзительную и, по видимости, несдирамую коросту хамства, глупости, ненависти, грамотного и неграмотного потребительства, сквернословия и пошлости, наркомании и суицидов, лжи, лизоблюдства и лицемерия пробивается неожиданное, драгоценное, спасительное — Литература.

Отечественная литературно-художественная периодика сегодня является собой собрание плодов разнообразных, подчас диковинных вкусом и цветом, разновеликих по уровню и, по нашему скромному разумению, в количестве совершенно недостаточном на душу населения. А между тем скрытый потенциал современной российской словесности огромен; и поскольку читатель и тексты, так же, как человек и Земля, — сосуды сообщающиеся, друг друга взаимно наполняющие, наше твёрдое убеждение состоит в том, что воспитание если не в избытке, то *в достаточном количестве* понимающих, умных и тонких читателей предполагает наличие вполне соответствующей умной, тонкой, прекрасной литературы.

Таким образом, основная миссия нашего журнала проста и очевидна — поиск и предъявление читателям талантливых авторов.

Освещая и обсуждая имена, достижения, тенденции, возникающие в современной отечественной литературе, мы надеемся внести свою посильную лепту в текущий литературный процесс.

Способ распознавания «талантливости» сформулирован давно и точно: «над вымыслом слезами обольюсь». Количество пролитых слёз, этот высокий (или, скорее, «глубокий») критерий прежде других будет влиять на положительное решение Редакционного совета. Значима также, безусловно, солёность слёзного моря, измеряемая содержательностью произведения и литературным мастерством автора (просьба не путать с мастеровитостью).

Мысли об идеальном журнальном поле всегда интригуют возможностью воплощения некоего архитектурного замысла, до тех пор существующего хтонически; конструирования «сверхтекста», не ограниченного рамками индивидуальной тематики и стилистики. Чем разнообразнее и неожиданнее стыки, связи, ассоциации, переклички, тем более насыщен, симфонически мощен, объемен конечный гипертекст, тем духовно и интеллектуально богаче мы с вами, уважаемый читатель.

В разделах первого номера найдутся проза, поэзия, эссе, переводы, письма. В следующих номерах планируем печатать и пьесы, и трактаты и вообще ни в чём интересном себе не отказывать. Например, рубрика «Прямая речь» предоставит слово людям, никак не связанным с литературой профессионально; однако невероятно заманчиво в соседстве её с вышеупомянутыми жанрами угадывать неощутимую границу перетекания реальности в вымысел, в собственно «литературу».

В рубрику «Поиски жанра» будут выделяться неожиданные и для самих авторов формы, а не только стихотворения в прозе, проза в стихах либо верлибры.

Памфлетам и фельетонам отводятся строгие границы раздела «Пересмешники», и чтобы ни-ни! Критика — что ж, негоже без неё, но, как и полагается, она будет лишь вспомогательной, сопроводительной нотой.

Политических тем хотелось бы избежать, но, как говорится, от тюрьмы да от сумы... При известных обстоятельствах не исключаются также специальные выпуски, посвящённые насущным проблемам сосуществования человека и Земли, например экологическим.

География журнала охватит пространство русскоязычной словесности, давно уже не совпадающее с политическими границами любезного Отечества: мы приветим литераторов от Владивостока до Лос-Анджелеса и от Норильска до Тель-Авива. Журнал в особенности будет стараться представлять разнообразную палитру современной поэзии: и почвенническое направление, и религиозно-философские изыскания, и авангардистские поиски новых форм и языковых возможностей.

Прозу обещаем печатать во всех её проявлениях, поскольку по-настоящему хорошая проза — всегда несравненная удача, *rara avis*, поди поймай её.

Но главное условие, повторимся, остаётся неизменным: текст должен быть по-настоящему талантлив, проявляя черты человека творящего, с несомненностью прступающие в человечество. Дело редакции — такой текст найти, по возможности оплатить, напечатать доступным глазу кеглем.

Татьяна СУРГАНОВА,
главный редактор

СТРАНИЦЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Татьяна Сурганова — Обращение к читателям	3
Summary	6

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Янчур — «НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ. НИКОГДА. НИКОГДА. НИКОГДА. НИКОГДА»	7
---	---

ПОИСКИ ЖАНРА

Владимир Бурлаков — СОЛНЦЕ НАД КАСПИЕМ	16
---	----

ПОЭЗИЯ

Ольга Кольцова — ОТРОСТОК ДРЕВА МИРОВОГО...	24
--	----

Сергей Магид — ИЗ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ	28
--	----

Михаил Свищёв — ВНАЧАЛЕ ВСЁ РАВНО ИГРАЕТ МУЗЫКА...	51
---	----

Ганна Шевченко — КАПСУЛА БЛОКА	66
---------------------------------------	----

Ирина Легонькова — В ГОРСТИ У МОРЯ	73
---	----

ПРОЗА

Александр Кормашов — МОРЕНА	31
------------------------------------	----

Юрий Буйда — РАССКАЗЫ	54
------------------------------	----

Александр Цуканов — СТАРАТЕЛЬ	69
--------------------------------------	----

Алан Кубатиев — ИЗ КНИГИ ЗАМЕТОК «ЛЮБИ АЗИЮ»	77
---	----

ПАМЯТЬ

Виктор Плавнев — ЛИНКОР «МАРАТ»	91
--	----

Игорь Кузнецов — ТРИ ПУТИ, НЕ СЧИТАЯ ТУПИКОВОГО	96
--	----

ЭПИСТОЛИЯ

Ольга Орлова — ДВА ПИСЬМА	100
----------------------------------	-----

ПЕРЕВОДЫ

Евгений Витковский — ИЗ ГЭЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ ШОТЛАНДИИ XVIII ВЕКА (Перевод и комментарии)	102
---	-----

ПРЕСМЕШНИКИ

Татьяна Морозова — ПРИДУРКИ-ХРОНИКИ	118
--	-----

Summary

The maiden issue of *MAN on EARTH* opens with **Tatyana Surganova**, the Editor-in-chief's address to the readers where she sets goals and formulates the concept of the new periodical. Most of the published materials are based upon personages' biographies describing these from various perspectives. **Tatyana Yanchur**'s plain and thrilling life story is told by the heroine herself who is not a professional fiction writer, this being the main principle of the DIRECT SPEECH section of the magazine. **Vladimir Burlakov**'s THE SUN OVER THE CASPIAN SEA continues the memoirs theme in an exquisite stylistic manner while **Victor Plavnev**'s BATTLESHIP 'MARAT' describes both funny and touching an episode from the author's prewar childhood. **Alexander Tsukanov**'s THE GOLD DIGGER contributes to the theme, from the experience of a teenager born in Kolyma.

Alexander Kormashov's MORENA is an attempt to visualize the continuous unity of the mysterious past (never it perishes indeed) with the unknown yet strangely familiar future, by means of science fiction. **Yuri Buida**'s imaginary civilization represented in THREE STORIES from his Chudov series (which is somehow similar to Alexander Grin's or Faulkner's self-sufficing worlds) show the grotesque, phantasmagoric yet psychologically faithful mirror image of the modern Russia. **Alan Kubatiev**'s springing, picturesque and exuberant extracts from his book of essays LOVE ASIA contrast austere, ascetic lines of

Igor Kuznetsov's THREE PATHS, APART FROM THE DEAD-END, dedicated to Saint Varnava of Gethsemane, Konstantine Leontiev and Vassily Rosanov. The ironical account of **Tatyana Morozova**'s PRIDURKI-CHRONIKI (FULL CHRONICLES, OR CHRONICAL FOOLS) will bring us back to modern Russian realities. **Tatyana Morozova**'s pictorial style is illustrated in the colorful insert.

Olga Koltsova, **Serguey Magid**, **Michael Svishov**, **Hanna Shevchenko**, **Irina Legon'kova** and **Olga Orlova** represent variations of poetic manner throughout the issue. **Eugene Vitkovsky**'s translations of Scottish Gaelic poets of the 18th century, along with his brilliant and exhaustive commentary, depict the Scotland of Highlanders in the time of Jacobite rebellion.



Татьяна Янчур

«Никогда не сдаваться. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда»

Самое удивительное, наверное, главное качество, которое я взяла от обоих родителей: они были и остаются — мечтатели. Но не такие, как Манилов, — вот беседочку построим, будем смотреть на солнышко, — у них мечта была не обывательская, а обо мне... Как хорошо бы, если б ты стала тем-то, смогла то или это... Они в меня верили. Папа говорит: а чего ты хочешь? Работать, работать надо. (*Смеётся.*) Самое интересное началось, когда встал вопрос о профориентации, знаменитой «профориентации» в наши школьные годы... Я же мастер спорта по велоспорту. Наверное, это единственная вещь, которой я не хотела дальше заниматься. Вот как с детства не хотела прыгать с парашютом — хотя это, наверное, очень здорово. Я хотела летать. Летать, быть лётчицей; понимая, что это, наверное, несбыточная мечта, потому что женщинам туда путь труден. Ну, космонавтами мы все хотели быть, Терешковыми и так далее. Но после полётов Савицкой во мне это желание как-то умерло, не знаю почему... А тогда папа меня спрашивает: «Ну, чего ты хочешь-то?» А я перебираю в себе: чего я хочу? В физкультурный — нет, накушалась школы олимпийского резерва до сыта, до отвала. Сама себе не принадлежишь, а между тем непрерывно растёт в тебе ком «надо». Благо, что за те годы, пока я велосипедом занималась, это «надо» вошло уже в привычку. Рано встать, сделать зарядку, проехать тренировку так, как написал тренер в путевом листе, — чем не дрессировка? Пульс, давление через каждые 10 километ-

ров. Всё это меня в какой-то степени научило перебарывать физические трудности. Потому что когда ты понимаешь, что никуда тебе не деться от твоей «сотки», от дневной нормы в 100 километров, — нормальному человеку этого же умом не осилить. Три тренировки в день, девчонки после школы тары-бары-растабары на любимом углу, а я портфель под мышку — и бегом в велошколу. Каждый день надо было себя заставлять. В какой-то степени я об этом очень сожалею: эти детские девчачьи разговоры без меня как-то отдалили, отодвинули от всех. Хотя вот по прошествии времени оказалось, что всё-таки продолжаем дружить, детская, женская наша дружба осталась — не по какому-то там закону, просто — дружим, и всё.

Ну ладно, в физкультурный не пойду. Что дальше? У меня вся родня — физики-химики: родители, брат, невестка... Но я упёрлась — не пойду, математику с физикой не хочу. (*Смеётся.*) Подумала, подумала: куда ещё? И папа тут очень мудро поступил. Он посадил меня на стул — вот так: садись; и говори мне, что тебя ТЯНЕТ. И вот я не знаю, откуда это вырвалось, до сих пор не могу понять: ...земля? И я говорю: пойду в Тимирязевку. Родители — на дыбы! (*Смеётся.*) Но теперь я всё-таки жалею, что не пошла, потому что с самого начала попала бы туда, куда попала сейчас... ну, немножко в другой форме, извращённой. (*Смеётся.*) Моя подруга, она, правда, на двадцать лет меня моложе, но поразительно, как перекрещиваются наши возрасты: её

физический и психологический — то же самое второе «я», только наоборот; её двадцать семь и мои пятьдесят. Так вот, когда я приезжаю к ней на питомник и она говорит: так, поехали по полям, — у меня внутри все ёкает, потому что мы садимся в газик, летим по пылюге, и я понимаю, что, наверное, это не для женщины, но мне это нравится! (*Смеётся.*)

Когда я приезжала к бабушке в Каширу... Бабушки прошлого века — это отдельная статья. Сейчас что за бабушки: ребёнок в руке, и куда бабушка пошла, туда и ребёнок... А тогда — строгий надзор, — но ты его не ощущал. Тебе сказали: не выходить со двора. «Да, бабушка». Ну естественно, выходишь... У неё был дом на горе. И когда я выходила — огромный огород, овраг, а дальше открывается Кашира с церквями, Ока с монастырём, холмы, вдаль уходящие... Я выходила за ограду между садом и огородом — там был парничок для помидоров, я садилась на него: снизу тепло от парника, сверху утреннее солнышко, я сидела, смотрела на эти дали и думала, какая прелест, *как я туда хочу...* Наверное, тяга к путешествиям, с которой я всю жизнь живу, ничего с этим поделать не могу, — родилась и сформировалась в Кашире, на пригорочке: а что там?

Это «а что там?» породило странное ощущение: я не чувствовала себя дома практически всю жизнь. Тут, наверное, и печаль: может быть, неудачно вышла замуж, как-то не для себя. Конечно, я не жалею о том, что произошло. Родила детей, воспитывала — но это было не моё время, в смысле определённых душевных связей с любимым человеком... Сейчас я совершенно по-другому ощущаю брак: есть и минусы свои, и плюсы...

Ну вот, сижу на парничке, перед глазами даль, тепло, — я так тёплые страны люблю! (*Смеётся.*) Теплолюбивое растение, ничего не поделаешь... Бабушка нас никогда не заставляла ни полоть грядки, ни поливать — просила помочь, ну, мы помогали, конечно, и бежали по своим делам. Я не могу сказать, что мне возня в огороде тогда доставляла удовольствие, но тепло земли, наверное, на тактильном уровне осталось... Поэтому когда папа меня спросил: «Что тебя тянет?» — все эти детские ощущения и сконцентрировались в моём ответе.

Я, конечно, понимала, что родителей надо слушать. Хотя — мой брат родителей тоже послушался и не пошёл в Архитектурный. Да, он учёный, физик. Да, он человек, который себя и там нашёл. Но нет-нет — какой-нибудь

макетик сделает, нет-нет — что-нибудь порисует или чем-то ещё займётся, что связано с созиданием такого плана...

На подачу документов оставалось два-три дня. Вот есть институт землеустройства. Приезжаем — документы не принимают, от окулиста нет справки. Папа говорит: при чём тут зрение? Её ощущать надо, что глядеть-то на неё? Что-то в таком духе сказал... Не приняли. Остаётся один день. Тут папа с его предвидением шебутного характера моего — то есть понимая, что если нет, то я и не пойду никуда, — говорит: «Да тут рядом есть техникум, поехали». Приехали в Гороховский переулок за Цветным бульваром, бывшая женская тюрьма. Я когда это здание увидела, думаю: ёшкин кот... (*Смеётся.*) Так и подумала, точно помню. Кельи не кельи, сводчатые стены, потолки, коридоры. Старинное здание, потом техникум перевели оттуда, не знаю, что там сейчас. Я не жаждала получать непременно высшее образование, хотя не скажу, что я учиться не люблю. Но хотелось уже в работу, что-то делать. И я поступила в Московский топографический политехникум, один из лучших техникумов Москвы.

При выходе я могла работать и геодезистом, и картографом, и аэрофотограмметристом — осваивать все специальности, которые там преподавали, хотя по диплому я аэрофотограмметрист — непонятная для многих профессия, создание карт при помощи космических и аэроснимков на приборах, которые сделаны для этой цели.

Эти три года!!! Специалисты оттуда выходили классные, потому что теорию давали в объёме института, и всё это ещё в практике подтверждалось, причём нас драли как сидоровых коз, по полной программе... Там в моей жизни появляются друзья, подруга на всю жизнь. Там та же детскость была, что и в школе, но у всех ребят и девчат, с которыми меня свела там жизнь, — у каждого из них был свой особенный какой-то талант: рисовать, танцевать, писать стихи, лепить, играть на гитаре или петь изумительным, как колокольчик, голосом, балагурить... Игорь Журавлёв, музыкант, мы заслушивались его песнями. Юра Пчелинцев на ровном месте мог рассмешить всякого. Болею, лежу в общаге, скучно — сил нет, а встать не могу, грипп — не грипп; он приходит, садится на стул: «Ну что? Поболела? Хватит!» И начинает из ерунды: качается на стуле, изображает лошадь... Что он такого делал и как это получалось — но через минуту моя хворь, чувствуя, уходит, и я начинаю

хочотать. И в конце концов он сам со стула свалился... Это был Чаплин, самый настоящий Чаплин. Шебутные были: «Так, ребята, что-то скучно, — поехали на Карпаты, на лыжах кататься!» — «А у меня денег нет!» — «У меня два рубля, нам хватит». И вперёд автостопом. Ничего удивительного, когда мы все вместе на мой день рождения, как стайка птиц перелётных, снялись с места: «А давайте в Ленинград на пару дней?» Холодно ещё, весна, 11 марта, мокро, но это не мешает получать удовольствие от жизни, от Питера, друг от друга... Мы забираемся погреться в какой-то подъезд — тогда ещё можно было забраться в подъезд! — и вот тут, на Васильевской стрелке, в каком-то случайному доме, Коля «Большой» начинает читать стихи: и я понимаю, что я в своей жизни пропустила такой пласт литературы! Хармс. Я в первый раз слышала. Коля был артист по жизни, и когда он читал, как будто угадывая, как Хармс вкладывал в свои смешные строки душу, для меня открылись и здесь новые «дали», иной мир. Наталия Михайловна, царствие ей небесное, несмотря на всю её строгость, сумела нас литературой зацепить, но это же школьная тогдашняя программа. Тем более мне было некогда читать; в театр — мама, какой театр, у меня тренировка. Но тут я понимаю, что мир искусства огромен. И я начала читать запоем, всё подряд, всё, что попадалось под руку дома и не дома, я перечитала Гюго, Джека Лондона... Наверное, у меня от него это ощущение Мартина Идена... Достоевский. Достоевского в школе читать тяжело, очень тяжело. Взялась за него после того, как услышала Колю — у него была феноменальная память, он нам читал отрывки из него целыми страницами, мы сидели разинув рты. Тот подъезд мне запомнился на всю жизнь.

Я за эти три года вдохнула в себя весёлость жизни — не разгул, а весёлость, сторону жизни, которой была лишена до того... Вкус к жизни, он и до этого был, я никогда не была пессимистическим ребёнком. Но тогда вот это стремление узнавать, читать, рисовать усилилось во сто крат... Юра Бобков: однажды он нарисовал икону. Мы были на практике на полигоне. Жили в палатках. Естественно, как люди, ценящие работу, которая при тебе сделана быстро, красиво и качественно, мы немедленно её повесили в палатке, и когда воспитатели зашли с проверкой, видят — икона висит. Шуму было! Юра получил три наряда вне очереди... Это было не надругательство, ни в коем случае, — это было ощущение жиз-

ни, которая пёрла из всех пор, которые есть у человека...

Потом мы ездили на практику в Душанбе. Мы с Леной в одной группе; и по жизни пошли вместе... На распределении нам говорят: вы в Москву. Я как всегда: не хочу в Москву. Хочу в Ашхабад. (*Смеется.*) «А ты свою хотелку заткни куда подальше. Как сказали — так и будешь делать». Я приезжаю домой, говорю: пап! Можно попросить, чтобы все-таки не в Москву? Он говорит: «Таня, почему нет? Сходи к директору». Назавтра с Леной приходим к Савватию Павловичу. Чудесный человек, царствие ему небесное, рано умер. А поскольку я мастер спорта, он меня знал не только как одну из студенток, но и как человека, кто на всех соревнованиях за техникум выступал. Пришли, говорим: «Савватий Павлович, так хочется на практику в Ашхабад!» Он говорит: «Без проблем!» Берёт трубку и звонит на то московское картографическое предприятие, куда всех нас обычно на преддипломную практику отправляли: «Павел Иваныч, отправь тут моих двоих в Ашхабад». И нам: «Поезжайте в отдел кадров, всё нормально будет». Мы приезжаем в отдел кадров. Нам говорят: «В Ашхабад? Не можем сейчас в Ашхабад, только в Душанбе». В Душанбе так в Душанбе. «Ну, берите билеты и езжайте». Мы едем в кассу, билетов нет, потому что мы там по срокам должны быть, а самолётом дорого-то лететь. Поезд идёт четыре дня. Нету билетов! Мы приезжаем домой, я говорю: «Пап, вот билетов нет». А он спрашивает: «А где ваши командировочные удостоверения?» — «Какие командировочные?» — «Вы что, идиотки? На деревню к дедушке, что ли, едете? Здрасьте, мы к вам?»

На следующий день мы опять к директору: «Савватий Павлович, вот такая ситуация...» Он звонит: «Слушай, завтра же отправляешь их самолётом». На том конце провода попытались посопротивляться: «Я сказал — самолётом». Приезжаем в отдел кадров, на нас смотрят волком, но: выдали командировочные деньги, выдали все документы, и на следующий день мы улетаем в Душанбе.

Как ты думаешь, что мы первое сделали, прилетев туда в шесть утра? Наше предприятие — вот оно, через дорогу от аэропорта, но рано, податься-то некуда. И мы пошли на рынок и купили вот такой арбуз и две дыни (*смеётся*), а чего мы их купили? Давай их есть! Для меня загадка до сих пор, чего мы попёрлись покупать этот арбуз — с радости, что мы туда попали! Вот попробуй такой купи

где-нибудь ещё. И сладость того арбуза у меня осталась на всю жизнь. Только на Волге, наверное, баскунчакские арбузы сладче...

На практике долго на нас не смотрели: приехали — значит, приехали. Будете работать с командой из МИИГАИКа. Это были 80-е годы, ввод наших войск в Афганистан, сейчас можно об этом говорить, а тогда это была запретная тема, и мы тоже узнали о том только по прошествии большого срока, а тогда мы не понимали, почему секретность нависала над нами дамокловым мечом. Для меня вновь было ощущение, что я работаю под грифом «совершенно секретно». И я понимала, что такое держать язык за зубами, потому что всё, что мы там видели, всё картографирование было связано с Афганистаном и с пограничными районами. Но опять же, по своей детскости я не осознавала серьёзности положения до конца. Вся беда в том, что современных мамаш, может быть, и моих родителей недосмотр — что нам говорили: «Ты должна это сделать», — и следом пытались сделать всё сами. Не объясняя, что такое ответственность. В школе были «уроки мужества», там речь шла об ответственности за свою страну и тому подобном... Как сложно сформулировать эту штуковину: ответственность за свои поступки — формируется не в разговорах, а в каких-то жизненных испытаниях.

Вот банальная ситуация: нам выдавалась каждый день подпись картографическая планшетка, карты, которые опечатывались, и так далее. Но в голове — ля-ля-ля (*долго смеётся*) — всё, что угодно, потому что красивые мальчики рядом с тобой работают; о каком серьёзном выражении лица может идти речь? Нет, мы свою работу делали, всё, что нас простили; нас учили то, что узнали в техникуме, адаптировать, применять к конкретному заданию. Это несомненный плюс того времени. Нам не сказали: «Вы ничего не знаете». Нам говорили: «Теперь всё, что вы знаете, применим, чтобы было удобно, вот так и вот так. Если что-то получается по-другому, советуйтесь, будем делать совместно». А это была довольно-таки сложная работа, привыкали к стереозрению на приборе и т. д.

И тут инцидент: мы сдаём карты, на следующий день получаем их — и у одной карты нет угла. Но я чётко помню, что мы сдавали целиковый планшет! То есть у нас только один планшет с такой картой. Приходит без угла. А этот кусок как раз — Хорогский участок, где военные действия проходили. Я иду к начальнику практики. Говорю: «Нет

угла карты». Она побелела: «Меня подстрелили». И тут мне стало страшно, первый раз в жизни. Я поняла, что она это сказала почти в буквальном смысле. Потому что она многое знала, а я не знала ничего. Но по выражению её лица я поняла тогда, что такое **ответственность за то, что ты делаешь**. Маленький кусок карты...

Что я в тот момент испытала, сказать, наверное, очень сложно. Я поняла только, что за то, что я сделала, ответственность понесёт другой человек. И я сделала то, что недопустимо вообще, потому что эта ответственность будет очень суровой. И действительно её потом уволили. Даже при том, что уголок карты исчез без моего ведома. Ты понимаешь, это моя карта. И я за неё расписалась. Это как у Экзюпери: ты в ответе за тех, кого приручили. Дети ноют обычно: ну что-о, только одна фраза, и из-за этого читать? А вся книга-то, чтобы прийти к этой фразе... чтобы прочувствовать её, мне жизнь преподала вот такой урок. А вот как детей в этом воспитать?..

Аэрофотограмметрист — это тот, кто на мир сверху смотрит. И есть работа, которая называется «аэровизуальное дешифрование». Нас посадили в самолёт Ан-2 и повезли на Памир. Самолёт летит Г-образным маршрутом, идёт на заданной высоте, салон приспособлен таким образом, что середина пустая, с люком для картографической аппаратуры, а возле каждого окна сиденье для работы. И, глядя в специальное окно, отмечаешь на маршрутном листе все изменения, которые произошли за определённый промежуток времени: река поменяла русло, деревья срубили, горы не в ту сторону пошли... Мы летали вдоль советско-афганской границы. Тут в моей жизни было, наверное, самое жуткое испытание: когда обнаружилась поломка в одном из моторов, самолёт сделал экстренную посадку в Зеравшанской долине, на плато. Хорошая там росла капуста, до сих пор помню, как из-под шасси кочерыжки отскакивали! Представляешь моё состояние, когда наш пилот кричит: «Всем пристегнуться, экстренная посадка!» Ну, всё как всегда: «Ля-ля-ля!» И тут он выматерился и как гаркнет: «Быстро всем сесть и пристегнуться!» И мы поняли, что шутки закончились. И мне ещё раз стало страшно. Так страшно, что не передать словами. Поэтому, когда я слышу о катастрофах, я переживаю, как если бы я там была...

Садимся — и кочерыжки в разные стороны! и когда мы приземлились, а нас там было шесть человек, кто-то сказал: «Ой, как в туа-

лет хочется!» — «А вон, листов капустных много!» Хохотали!

Взлёт на такой же полосе через кочерыжки. Потом пересели на вертолёт и летали вдоль Пянджа. Поразительно: вот смотришь — Афганистан. Уму непостижимо. Мне-то, не знавшей никаких заграниц, в диковинку: «Ребята, ведь это же Афганистан!» Аф-га-ни-стан! Хотя ландшафт вроде один и тот же. Мы видели архаров, как они по горам бродят, — вот это было да! Такие они красивые! И ещё видели то, что тогда нам видеть и понимать запрещалось: танки, ползущие внизу...

К ландшафтной архитектуре я шла, как бы это сказать... «огородами». (*Смеётся.*) Это было весело; а получилось таким образом: я с детьми уехала в Липецкую область восстанавливать вотчину свекрови. Меня там оставили один на один с нетронутым участком, потому что после его покупки в семье свекрови начались неурядицы, и я попросила, чтоб меня с детишками туда отправили. И вот я окучиваю этот гектар черноземья, под Лебедянью, в бунинских местах, с вот такими яблоками, с вот такой морковкой и огурцами без полива и всё такое прочее. И ещё огромное количество камней, которые там повсюду лежали. Каждый раз, проходя мимо этих камней, я про себя думала: чего ж с ними сотворить-то? При этом понятия «ландшафтный дизайн», какого-то представления о том, что существует литература, традиция, секреты, в голове и в помине не было. А ведь садоводство (парководство, паркостроение) в России было одним из лучших в 50–60-е годы, и те учебники, которые я потом просматривала, были настоящие шедевры, научные работы по созданию цветников, композиций и так далее. Я даже потом их копировала в ГПНТБ, потому что в продаже тогда ничего не было, но это будет позже. А тогда я просто ходила возле и думала: да что же это такое-то? Ну куда бы их пристроить? Наверное, недели три вокруг этой кучи бродила: потрогаю камушек, погляжу на него, подержу его тепло — и вспоминаю детство, когда мы с братом у бабушки создавали крепости из снега зимой и из песка летом, всё время что-то строили, и я понимаю, что у меня желание строить откуда-то изнутри встаёт, неосознанно. И как-то однажды, уложив детей, сказала: всё, мне не мешать.

Корячилась целый день и около дома создала палисадник, сначала банальный. Пересажала всё, что только могла. Страшно было! Почему страшно? Никого ведь не предаёшь, никого не обижашь... Наверное, страшно по-

тому, что в нашей системе без указания сверху мало что делалось. Страшно, что приедет свекровь, скажет, фи, бяка, — ну, это один из мимолётных страхов, я чувствовала саркастическое к себе отношение постоянно; ещё потому, что первая мысль была — не получится. Сама не понимала, чего, но не получится. Но когда взяла в руки первый камень, то сказала себе: да ладно, не получится так не получится. Ты хочешь этого — значит, это надо сделать. И камень на камень, кирпич на кирпич... (*Долго смеётся.*) И создалась довольно простая композиция, я, конечно, сейчас это прекрасно понимаю. Но это было в отличие и в разрез со всем, что в округе. Если учесть, что это был колхоз, коровы и т. д., когда все приходили и: ах! На самом деле это был прямоугольный участок, метров семь на семь, который сложился в некий бруствер и внутри был разделён на композиции. Некоторые растения я пересаживала, с поля несла — васильки там, ещё что-то... и когда сделала, я поняла, что мне это нравится. Хотя смотрела зашоренными глазами, но всё равно: красиво! Сейчас бы я раскритиковала, сказала бы, что у меня там было глупого, неправильного, — может быть. Хотя, если учесть, что это был порыв души, это чудесно в любом исполнении. А потом мне привезли журнал — это был первый журнал ландшафтного дизайна, — в котором приглашали присыпать фотографии своих уголков сада. Я недолго думая щёлк, в конверт и на почту в сельсовете. Отослала и забыла, и понимаю, что это всё глупистика. Помнить — только себя терзать — всё равно моя работа никуда не попадёт. Некое принижение собственных достоинств во мне всегда присутствовало. Это школа, конечно. Вы никто, вы винтики. Единственный контрапункт — мне надо. В школе из-за этого всё время были стычки с Натальей Николаевной. Всем в одну сторону — а мне на сборы. Мне надо! Постоянно в каком-то разрезе с общественным мнением, которое переросло уже в убеждение, что всегда нужно быть «на баррикадах». Так вот, каково же было мое изумление, когда потом случайно, в переходе метро, я купила журнал, листаю, листаю, смотрю — картишка какая интересная. И знакомая что-то! Читаю подпись: «Победитель нашего конкурса Янчур Татьяна». КТО? (*Тихо смеётся.*) кто? Понимаю, что это я, но глазам, естественно, не верю... проглядываю от корки до корки, что интересного, и вижу маленькую заметку о курсах в МАРХИ. Попросила у мужа разрешения пойти поучиться. Обучение стоило

800 долларов в семестр, огромные деньги в то время, но наша ситуация позволяла, и он сказал: хочешь — иди. Я пошла.

Когда сдавала экзамены, поняла, что не готова к этому никак. Экзамен довольно интересный и простой: сдают не математику и не физику, потому что для этого у тебя есть диплом, без него туда не принимают, а предлагают, например, в разных перспективах, сверху и сбоку — как ты видишь — изобразить нарисованный экзаменатором предмет. Второе задание — как тебе представляется класс, в котором ты находишься. А я же рисовать не могла. Мне ведь Валерий Константинович сказал тогда: «Леонова, ещё раз нарисуешь такой птичник — убью!» (*Смеётся.*) «Грачи прилетели! Скворечник!

Я всю жизнь чувствовала, с детства, ощущение прекрасного в каждой линии. Но рисовать боялась. Не привили. Хотя, как выясняется, каждый человек может рисовать: заложено чувство пропорции и всего, всего... Ну вот, я думала, что я рисовать не могу. А срисовывать у меня великолепно получалось. Я рисовала Таис Афинскую, когда читала, все мои впечатления от этой книги Ефремова через рисунки прошли... Джек Лондон и «Таис Афинская» — это два моих маяка по жизни. Я понимаю, что я в определённой степени Таис. Джек Лондон во мне — сила жизни. Романтизм, умноженный на настроение того возраста, когда я с его книгами познакомилась. Таис — та же сила жизни, только женская... Так вот, у меня дома все стены были завешаны рисунками из «Таис»: пожар в Персеполисе, Исаихора... Я понимала, что я могу рисовать, но желания сидеть и рисовать часами, по заданию у меня не было. А на экзамене, оказывается, проверялось не как ты держишь карандаш, а что ты этим карандашом сможешь выдать, видеть... Поймать какую-то перспективу, показать, как ты видишь соседей... Ну и последний, общий экзамен — знание литературы, искусства, стихов, — и здесь меня, наверное, выручило то, что в своё время я всё-таки взахлёб начиталась. И насидалась в подъезде с друзьями... (*Смеётся.*)

Я поступаю в институт и как сумасшедшая учусь. И понимаю, что двери моей жизни открылись, что вся моя жизнь перевернулась, что другого я не хочу. Преподаватели... Сын Ожегова преподавал у нас историю ландшафтной архитектуры и паркостроения; его внучка — начертательную геометрию. Лариса Леонидовна, преподаватель дендрологии, — чудо просто... Александр Фёдорович Квасов научил

нестандартно видеть, мыслить. На примере совершенно необычных, несуразных как будто заданий. «Сделай себе головной убор — Вавилонскую башню; или египетскую пирамиду». «Янчур, тебе самое сложное задание». Ну, понятно, не зря же я всегда во все дырки лезла, то есть когда мы в аудиторию заходили, он ни у кого больше не спрашивал, а только: «Так, Янчур, какие вопросы?» (*Смеётся.*) Поэтому что когда мы первый раз туда пришли и нас спросили «какие вопросы?», все молчат, а я как всегда: «А...? а...? а...?» Раз надо было соединить барский дом и русскую избу. Или продумать фонтан. Вписать его в определённое окружение. Соединить ландшафтным фойе МХАТ и театр Пушкина на Тверском бульваре. Вячеслав Фомич Колейчук — человек, который создавал декорации для «Кин-дза-дза». Каждый преподаватель — как откровение. Плеяда педагогов, которые сами по себе уже университет!

Не скажу, что в семье мне было скучно. Серёжа старался сделать нашу жизнь разнообразной, но моё отношение к нему не давало мне ощущения праздника, что ли. И когда я с ним развелась потом, я поняла, что вздохнула свободно, что моя жизнь только начинается. Проревелась, как все бабы, потом думаю: ну, чего ревёшь-то. У тебя прекрасное образование. Дети, в конце концов. Да, очень сложные с ними отношения, потому что дети приняли сторону отца. Двадцатилетний сын мне сказал: я хочу, чтобы мама и папа были вместе. Было очень тяжело, но я пыталась им объяснить, что если мы будем врозь, это будет лучше для всех. И вы будете спокойно засыпать. Потому что папа и мама остаются папой и мамой. Только отношения между ними претерпели определённые изменения... Да, мы оба виноваты. А вы здесь ни в чём не виноваты, и поэтому для вас делается всё, чтобы сохранить внешний уют и комфорт.

Ну так вот, когда мы с Серёжей развелись, пару недель я поплакала в подушку — повыла. Наверное, от внутренней несправедливости, вот своей бабской какой-то, её объяснить очень сложно. Я понимала, что это неизбежно, но всё равно внушала себе... Двадцать один год чего? Чтобы вот так разойтись? Без квартиры, без всего, без детей, потому что дети в тот момент были просто зверьки... Года за четыре до развода я Серёже сказала: я так хочу ребёнка, третьего... Бабское это желание — погладить, понянчить, не могу объяснить этого — захотелось, и всё. Забеременела, но Господь мне сказал: извини, не родишь. На пятом месяце сде-

лали искусственные роды, потому что у меня интоксикация была, давление, мне сказали, ты или себя, или ребенка потеряешь. «Я лежать буду!» — «Не поможет!» Жутко, страшно. Муж настоял на операции. После начался рецидив, и я опять в больницу на месяц попала. С жизнью уже прощалась, если честно. Ну, я тогда подумала: если Господь не даёт, значит, оно так надо. Ну, фаталист в определённой степени: если оно так, значит, так! Хочешь поплакать — поплачь, но ты ничего не изменишь. Прими как есть.

Почему двадцать один год в моей жизни супружества? Почему? Объяснение интересное: мы с одноклассником едем на Протву, где все наши друзья из школы собираются. Мы приезжаем в Балабаново, оттуда нужно попасть в Боровск, а потом на автобусе до турбазы, до которой ровно двадцать один километр. Но последний автобус уже ушёл, и мы идём пешком. Володя после армии — маршброском, я... (*Смеётся*) Но — надо, я собираюсь в кулак, я иду. Вот мне скажи сейчас двадцать километров, а тогда всё весело, бодрым шагом, — сначала. Потом — заставляя себя, повинуясь привычному «надо». Как мы добирались по лесу — отдельная песня. Ой, хочется попить, давай у колодца попьём. Останавливаемся, вдруг мат-перемат из телеги, пошли отсюда. Мы руки в ноги, идём дальше. Не попили. Я падаю на спину, потому что не заметила колею. Я лежу и гомерически хохочу, не могу встать: как жук, которого перевернули на спину, болтает лапками. Володя поднимает меня, рюкзак мой берёт на спину, мой спереди (водку несли всем!), и идём дальше. Подходим к Протве — вместо маленького ручейка река! Володя меня на загривку, потому что ноги у меня уже не идут, — и по пояс в воде меня перетаскивает. И когда мы приходим к ним наконец — в этой компании Серёжа, мой будущий муж. Вся дорога насыщена препятствиями, — ты прислушайся: нельзя, нельзя, нельзя... и река, и падать, и руками баражаться, и выпить хочется... Нельзя, но надо... вот это надо сыграло отрицательную роль, получается. Вся коллизия-то в этом. Где я с мужем-то повстречалась? И когда ревела, этот двадцать один год вспоминала. И пыталась в мужа влюбиться, и его измена в тот момент, когда в него влюбилась наконец... Потом думаю: всё, ша, хватит. Что у тебя есть? Пустой земельный участок, руки, образование. Будем жить на Рузе. Я принимаю для себя решение, говорю родителям: если вы разрешите, я у вас поживу, но мне надо построить дом,

купить машину; для чего? Чтобы взять ребёнка из детдома, потому что сама я уже не могу родить, и жить на Рузе. Как человек, которого научили масштабно и «пейзажно» мыслить, я принимаю концепцию своей жизни.

2004 год. Вокруг Рузы огромное количество коттеджных посёлков. Один посёлок строится; я предпринимаю шаги по знакомству с людьми, которые владеют этим посёлком, предлагаю свои услуги, они с удовольствием их принимают, я начинаю работать там: делаю проекты. Тогда это были огромные деньги; как раз в этот момент появляется Виктор, делаю проект его участка, где я с ним, в общем-то, познакомилась. Заказчик всегда табу: никаких отношений, какими бы хорошиими они ни были: а так как я человек очень разговорчивый, мне интересно общаться с людьми, я могу поддерживать многие темы — все мои заказчики в конечном счёте становились моими друзьями. Это высший пилотаж в моей профессии: когда ты, закончив проект, понимаешь, что приезжаешь уже как друг. Все перипетии — и финансовые, и прочие — закончены. Оно всё забывается... Те, кто приглашал меня для работы, — это в основном богатые люди, интересные люди. Бизнесмены, которые мне очень много дали в плане того, что в мире происходит, потому что я телевизор не люблю смотреть...

Чтобы построить дом, я вела в один год семь объектов. Мне во сне снилось, как я спать хочу! Но Господь, наверное, меня услышал и везде мне давал зелёный свет. Вот ситуация: я встречаюсь по работе с молодым архитектором. Задаю вопрос: сможешь мне дом сделать? А он самостоятельно ещё не работал; но согласился попробовать. И за относительно небольшие деньги сделал проект и стал строить. Тогда смета не составлялась, — наверное, Господь меня от этого отвёл: если бы я знала, сколько нужно денег, я бы не взялась ни за что. А тогда я не задавала вопросов: мне надо построить, а сколько это будет стоить, неважно, заработаю. Потому что я свою жизнь видела внутренним взором, простирали: я хочу жить на Рузе, в прекрасном месте, удобном для ребёнка, которого я возьму из детдома, и мы будем жить мирно, счастливо и весело.

И потихонечку пошло. Сначала я купила машину большую, чтобы с ребёнком можно было путешествовать (первое время она чуть не домом мне служила), потом начал строиться настоящий дом. Звонок архитектора: для того, чтобы сделать фундамент, нужно 10 тысяч долларов. Я человек, который, живя в семье,

имел определённый, небольшой, но достаток, ну две, ну три тысячи — а тут сразу десять! Их же отдать надо, если возьмёшь-то! Кто у меня есть, кто может такие деньги дать? Нашёлся человек, который мне поверил, дай Бог ему здоровья... Прихожу к нему: такая ситуация, нужны десять тысяч. На что он: когда отдашь? Не спрашивая, на что, куда, зачем... Когда. — Ну, наверное, через месяц отдам. — Точно отдашь? — Да. Откуда была эта уверенность, я не знаю; но через месяц, ровно день в день я ему отдала эти деньги; я их заработала.

Проходит время; чтобы поставить коробку и дом под крышу, нужно еще двадцать тысяч. Иду опять на поклон. — Когда отдашь? Я говорю: эту сумму месяца через три, не раньше. Он посмотрел так в себя, чего-то там подумал, согласился. Ни процентов с меня не взял, ничего. Это опять Господь мне помог: такие деньги без процента мало кто давал. Проходит три месяца, звонок: Таня, ты мне завтра отдашь деньги? Я смотрю в календарь — три месяца ровно. И в последний вечер мне заплатил заказчик оставшуюся сумму, и я смогла отдать долг. Вот так я строила дом.

По-другому сказать, как Господня помощь, я не могу, потому что подумала о том, что мне нужно взять ребёнка, и Господь мне помогал. И когда достроила, пошла в отдел опеки. Я хотела сначала взять мальчика постарше, потому что возраст уже не маленький и малыша я просто не потяну физически. Но в этот момент отношения с Виктором переросли в нечто большее, для меня неожиданное. То есть у меня даже в мыслях не было, что я ему нравлюсь. Виктор очень суровый человек с виду, хотя мальчишка в душе. Я чувствовала некую симпатию, но не более, чем со всеми остальными заказчиками. Потому что по-другому очень сложно работать; если нет определённой симpatии, очень сложно сделать то, что хочет этот именно человек.

Когда мы обсуждали его проект, он говорит: Татьян, а ты не думаешь, что стоимость твоих работ очень высока? А они действительно были дороги. В его случае это была вообще баснословная сумма, объект зашкаливал. На что я ему сказала: вы можете сократить мой гонорар, но он достоин той работы, которую я делаю. Рассказала, что хочу достроить дом и взять ребёнка из детского дома. И если он согласится с суммой гонорара, то мне это очень поможет в осуществлении моей мечты. И он мне выплатил эти деньги, которые позволили отдать долги. Когда мы с Витей обсуждали потом, какого ребёнка взять, а за это вре-

мя я уже собрала все документы, справки — у нас же всё непросто, чтобы усыновить ребёнка; это заблуждение, что ты приезжаешь и выбираешь: кого бы? Есть база данных; без разрешения Минобразования ты никуда не попадёшь, ни в какой детский дом, чтобы не травмировать детишек. И тебе по фотографии говорят: вот, есть такой возраст, смотрите; у того вот такие болячки, у этого вот такие, а у этого вот такие-то. Здоровых детей там практически нет. И Татьяна Васильевна, заведующая по работе с детьми, мне говорит: «Таня, возьми вот — Диму. Ну возьми. Не пожалеешь. Ребёнок патологически здоровый. Родителей нет. Год и три месяца». Я говорю: «Татьяна Васильевна! Я не смогу его поднять, не смогу. Мне же работать надо. Мне работать надо». — «Таня! Ты не понимаешь своего счастья». Хотя я не думаю, что в другом варианте что-то хуже было бы, лучше — не факт на самом деле. Димка, конечно, не подарок (*смеётся*), это испытание Господне; то есть хотели — получите. Жаловаться-то не на кого. И когда я с Витей разговаривала, я говорю: Вить, давай вместе съездим посмотрим. Потому что когда я приехала в первый раз одна, когда я его увидела... Знаешь, когда мне задают вопрос: «Что вы испытали, когда увидели его, — “ваш” это ребёнок, не “ваш”?» — я отвечаю, вы что, идиоты? Первое, что ты видишь, — это та ответственность, которую ты берёшь на себя. Ты видишь это существо, которому год и три месяца, а он даже не ходит. Который не говорит. Ни «мама», ни «папа». А только: А! а! а! Ему все: мама пришла! А он тянется ко всем «мамам», только не к тебе; он тебя воспринимает, как что-то из предметов мебели. Вот это примерно то, что я испытала, когда его увидела. Не скажу, что вид его испугал: единственное, что я для себя отметила, — у него восточный тип лица, вот почему-то. Очень крупные ушки, вздёрнутый нос такой... А я только что побывала в Таиланде... странные мысли, которые пролетают, как пули. «Ну вот, берите!» А это берите-то, ты извини, ты кто? «Мама, мама!» — и к той тёте, которая его привела. Какое состояние в душе? Ты берёшь ребёнка, а он тебя не воспринимает вообще. На второй раз приехали вместе с Виктором. Попросила, потому что он мне давал понять, что в определённой степени хочет взять эту ответственность и на себя. Поэтому я предложила поехать вдвоём. Если б этого не было, я бы его туда не потащила.

И мы пришли. В этот день там была американская семья; они усыновляли мальчика, которому было тоже год и три, — совершенно

больного: косоглазого, с чем-то ещё проблемы. Тут же сидела работник из опеки, потому что иностранцам без представителей опеки нельзя находиться наедине с ребёнком. Они в комнате, мы на лестнице — негде встречаться, кроме как на лестнице и в предбанниках; так уж мы строим детские дома. Эта дама из опеки говорит, глядя на нас: чего Бога-то гневите? Вы посмотрите: берут больного, косого — и радуются жизни! Мы когда домой приехали, Витя говорит: чего Бога гневить? Берём! Этого ребёнка. Не «бери», а «берём». И я вспоминала эти слова потом, когда сложные отношения с Виктором были: эта фраза означала молчаливое мужское согласие: я тебе помогу, я буду с тобой рядом. Женатый человек, да? Я не имею права его заставлять ничего, это только мои личные чувства к нему и надежда, что человек этот мне действительно поможет, поддержит. Про финансы я не думала, потому что знала, что я сама себе всё заработаю. Чтобы остаться без куска хлеба, меня даже мысль не посещала. За пятнадцать лет не давала ни рекламы, ничего. Работала.

Ну вот. Я беру Димку. Первая неделя — кошмар. До сих пор внутри холдеет всё. Как с маленькими, забыла всё уже, естественно. И понимаю, что вот — он, помощников рядом — нет, и как я того боялась, оно и происходит. Я сделала этот шаг, решившись, но не думая обо всех тонкостях, деталях: вперёд и с песней, барабан на шею, флаг тебе в руки. Взяла ребёнка, порадовалась за себя, что я этот

шаг сделала, действительно порадовалась... а теперь начинается жизнь. И когда ребёнок боится воды в ванной, потому что за его год с лишним ни разу в ней не мыли, только попу под душем; когда он благим матом впит, если сажаешь его на горшок — не приучен; когда от любой малейшей сложности запихивает руки в рот, закрывает глаза вот так и в пол головой! Пол кафельный... Это был кошмар на улице Вязов!

Чтобы быть мамой, нужны внутренние определённые усилия; я забываю на время обо всём, а потом пронзает: а кто деньги будет зарабатывать? Как быть? Возникает желание взять помощницу. Но она появилась только через неделю, сразу тоже так не найдёшь. Вечером укладываю спать: это жёсткость моего характера, и я думаю, что в этом я была не права, сейчас это понимаю; я его укладывала и уходила из комнаты. Он орал безумно. Но у меня была такая мысль: приучить к самостоятельности с детства. Ну не дошло до меня, что это нужно было постепенно делать, понимаешь? Может быть, многие проблемы сейчас — из-за того сна, когда рядом никого, и ему страшно, страшно, понимаешь? Я за это себя ругаю — да, он в какой-то степени научился быть самостоятельным, но сейчас проблемы, он один не хочет быть, ему страшно. Необдуманность и «я» — вот это мне страшно до сих пор. А в остальном — заботы, радости, горести, всё в одном. А потом как-то Витя всё-таки окончательно решил, что мы вместе...

Татьяна Янчур родилась в городе Подольске Московской области. Окончила Московский топографический политехникум по специальности аэрофотограмметрист, затем МИИГАИК по специальности картограф. Второе высшее образование получила в МАРХИ по специальности ландшафтный архитектор. Живёт в Подольске.



Владимир Бурлаков

Солнце над Каспием

Солнце

Солнце в небе! Высокое, белое, маленькое, жаркое. Плавится асфальт. Мне восемь лет. Я иду из Дворца пионеров имени Гагарина по улице Коммунистической, стекающей к площади «Азнефть». Я не просто иду, я чеканю шаг, как настоящий военный, вбиваю ступни в раскалённый асфальт. Он жжёт кожу сквозь тонкие подошвы сандалий, боль остужает меня от переполняющего счастья: ведь это не кто-то другой, это я родился не кошкой, не собакой, не рабом негром в какой-нибудь страшной Америке. Мне повезло появиться на свет человеком в самой лучшей, самой справедливой в мире стране. И более того — я сын рабочего! От такого везения даже немножко жуть берёт. Я чеканю шаг, я в душе солдат, я готов защитить своё счастье от любых самых злобных врагов. Если, конечно, они посмеют посягнуть на мою великую родину, объятую красными знамёнами.

С площади «Азнефть» синий троллейбус под номером 1 или 1 «А» понесёт меня на Байлов. Слева за деревьями бульвара замелькает море, наша бухта, потом её перекроют долгие заборы заводов. Справа проплыёт нижняя станция фуникулёра, устремившая в гору раскаленные рельсы. А перед станцией на площади бронзовый витязь в чаше фонтана вознёс огромный меч над головой змея. Змеюка затылком прижался к земле, оскалил пасть, из неё бьёт мощная струя воды, капли, рас-

сыпаясь в воздухе, искрятся всеми цветами радуги.

Я тоже стану скульптором, когда вырасту. Во Дворце пионеров я занимаюсь в скульптурском кружке. Большая прохладная комната называется «студия». Там много пластилина, мне нравится, как пахнет пластилин. Он здесь коричневый. Дома или в школе пластилин лежит в коробочках цветными брикетиками, он как бы обязывает лепить из него нечто, разделяя по цвету. Получается какая-то определённая ерунда. А здесь мы берём огромные куски одноцветного пластилина, кладём их на свои дощечки и лепим носы, или пальцы, или глаза, или уши. А один мальчик постарше заканчивает лошадь. Такую огромную лошадь, она стоит на трёх ногах, а переднюю правую подняла над землёй. Лошадь уже готова, она как живая, но мальчик на каждом занятии молча «дорабатывает» скульптуру. Он похож на волшебника. Он что-то делает такое, от чего мощные мышцы его лошади начинают играть под кожей, такой упругой, почти прозрачной.

Я попросил у мамы денег на пластилин. Много денег на много пластилина. Я принёс тяжёлые коробки домой и начал смешивать цветные пластины в одну массу.

— Что ты делаешь? — ужаснулась мама.

— Не знаю, — честно ответил я, — так надо.

Я долго мял пластилин, пока не превратил его в одноцветную, коричневую, немного блестящую глыбу.

И теперь дома ждёт меня мой конь. Вначале я хотел вылепить лошадь, но у меня получился конь. Он уместился на фанерной крыше от посылки, он тоже стоял на трёх ногах, а переднюю правую поднимал над землёй. Никаких половых признаков у скульптуры не было. Но он был конь с такими живыми, вдыхающими воздух ноздрями. Все так и говорили (все — это кто заходил к нам в гости): «Какой у вас конь!» Он стоял на буфете, его фанерную подставку скрывала высота. И люди спрашивали: «Купили?» То есть: потратились?

— Нет, — отвечала мама, — Вовка слепил.

Люди подходили ближе и видели фанерку от посылки, оглядываясь на меня, если я был дома, молча, одобрительно кивали. А если меня дома не было, просили передать, что «Вовка у вас молодец».

Тетя Сима зашла, когда я был дома. Рыжая, подслеповатая, она прищурилась в стену над буфетом и спросила, как все: «Купили?»

Мама ответила. Тетя Сима подошла, принюхалась и радостно изрекла: «Ну, так видно, пластилином пахнет».

И стала быстро-быстро рассказывать про каких-то мальчиков-братьев, которые сыновья какой-то её знакомой, вот они лепят из пластилина солдатиков, таких мелких-мелких, с оружием, и таких натуральных, если приглядеться. И таких разноцветных, ярких! И так много-много! Вот это — да!

Она тараторила, а я обижался. Это случилось в мае. Тогда и начал таять мой конь. Пластилин тает от жары. Я поливал его водой, я подставлял ему под правую ногу подпорку и под брюхо тоже, но он сложился и прилёг, как раненый. Я вернул его в глыбу, моего коня, который всё равно есть. Есть на белом свете, и я, когда захочу, когда смогу, например осенью, когда станет прохладнее, снова вылеплю его. Если не забуду. Главное, дома у меня есть большая глыба пластилина с затявшимся в ней конём.

И наступила осень

И я забыл о коне. Осенью перед нами замелькала в модных спортивных костюмах, с большой теннисной ракеткой за спиной сама Женя Бирюкова: чемпионка СССР, чемпионка Европы. Жила она в одном из домов 11-го переулка, там, где в него упиралась 4-я Баиловская, сам переулок, выложенный булыжником, круто спадал к нашему знаменитому кольцу, к автобусным и троллейбус-

ным остановкам. Упругой походкой ходила Женя по узкому тротуару, вдоль булыжной мостовой вниз на тренировки, вверх — домой. О ней писали газеты, её показывали по телевизору, с гордостью и уважением говорили люди. Она выиграла Уимблдон в парном разряде, и какой-то англичанин предложил ей руку и сердце, но Женя, как настоящий советский человек и чемпион, утерла капиталисту нос твёрдым отказом. Так говорили люди. А мы, пацаны, естественно, ринулись вслед за ней в секцию тенниса, на корты, расположенные напротив гостиницы «Интурист», вбивать мяч тяжёлой ракеткой в стену. Играть через сетку — это потом, вначале надо научиться бить по мячу и попадать в квадраты с цифрами на стене.

Я бил по мячу, упорно мечтая о синем гаражном спортивном костюме с белыми буквами СССР на груди. Потный, дожидаясь своего троллейбуса № 1 или 1 «А», стоя спиной к серой гостинице «Интурист», краем глаза видел слева витязя над змеем, из пасти которого не била струя воды, не расцветала радуга. Пасмурно осень тянулась к зиме.

Троллейбус № 1 или 1 «А» подбирает меня, замерзающего на бакинских ветрах, несёт мимо завода «Паркоммуна» слева и «пожарки» с каланчёй справа, и взлетает по баиловскому подъёму, и доносит до остановки «Роддом».

От остановки «Роддом»

От остановки «Роддом» лучше подниматься поздней весной или ранним летом. По лестнице, выпавшей сюда из сказки. Она двумя рукавами ступеней из камня течёт под ноги, обнимая террасы, на которых стоят деревья сирени и кусты олеандра. Под густой листвой сирени прохладная тень, а на террасах, открытые солнцу, неутомимо цветут олеандры и дразнят розочками. К ним нельзя присасаться. Их нельзя нюхать. Олеандры ядовиты. Об этом мы знаем с детства. Нас предупреждали бабушки: не присасайтесь к олеандрам. В середине подъёма лестницы с двух сторон упираются в площадку, разлитую эллипсом. Здесь можно остановиться и оглянуться и увидеть роддом, огромное светлое здание с округлым торцом и высокими окнами. А можно бежать дальше ввысь по широкой лестнице, уходящей теперь между террас. А можно свернуть налево, во двор, где живёт Славка Беня, рыжий еврейский мальчик. Славка самый младший в многодетной семье, где его любят

и балуют. Он плохо учится в школе. Еврей-двоечник — это Славка Беня — мой друг. Его выгонят из школы после шестого класса. Он станет известным телемастером, а после великого исхода из Баку переберётся в Детройт, где будет работать автомобильным электриком на каком-то японском заводе. Но сейчас мы не сможем заглянуть к Славке Бене и не успеем свернуть во двор, что справа, к Витьке Семёнову, одному из лучших футбольных вратарей. Мы с ними повидаемся потом, а возможно, и не повидаемся. Кто знает, куда понесёт меня это повествование? Вот сейчас, прямо сейчас, когда я оторвался от этого текста и вышел на кухню налить себе чаю, зазвонил skype! Меня нашёл Вовка-армянин. Он, слава богу, жив! И дети его живы!

Как хорошо, Вало, что ты жив!

— Здорово, Вало!

— Вало, привет! Ты не поверишь! Вот сейчас, когда зазвучал по скайпу твой вызов, я знаешь чем занимался?

— Чем, Вало?

— Я на кухне рассказывал жене, как Вовка-армянин учил меня в детстве сыпать брынзу крошками на хлеб с маслом. Именно крошить и посыпать, а не покрывать нарезанным пластом. Так в самом деле в сто раз вкуснее.

— Помни, Вало.

— Ты представляешь, я вот только сейчас об этом рассказывал Шуре, и ты позвонил?!

Великая вещь Интернет! Мы видим друг друга. Мы смотрим друг другу в глаза. Он рассказывает мне, как спасался из очумевшего Баку на пароме. Через город, в порт, его везли друзья-азербайджанцы, сами рисковали жизнью.

Вало, а я в своём повествовании в том, нашем старом Баку. Поднялся от роддома на 2-ю Баиловскую, иду теперь по узкой лестнице на нашу третью, иду, а справа на террасах сосны и олеандры, а за ними ГРЭСовский дом. Он каскадами трёх пятиэтажных подъездов взирается от 2-й Баиловской до 3-й. В среднем подъезде живёт Лёнька Петров, в верхнем Борька Крайнов. Там на площадке, подальше от парадной, ближе к лестнице, скамейка под сосновой и вонючкой. Помнишь, мы в детстве ломали побеги этого дерева, они так стремительно высакивали из-под земли в самых разных местах и успевали вырасти в маленькие деревца. Кто-то распустил слух, что побе-

ги эти размножаются от корней и что вонючку надо уничтожать. Мы ломали хрупкие стволы и воротили от них носы.

Интернет говорит: дерево это называется айлант — райское дерево!

Ты представляешь, на нашей скамейке мы целовали девчонок под райским деревом?! Может быть, потому эти первые в жизни поцелуи были так нежны и целомудренны?

Энциклопедия говорит, что в некоторых странах айлант называют «сумахом»! «Сумах» добывают из граната и барбариса. «Сумах» — самый вкусный бакинский лимонад!

Айлант был в нашей юности, Вало! Айлант, а мы и не знали!

Извини, Вало, я уже на 3-й Баиловской, она называется улица Тимченко. Мой дом слева, он двором упирается в гору, твой — справа, наискосок через дорогу, на неё выходит лишь второй этаж, а первый там, внизу, во дворе. На фасаде дома, в котором ты живёшь, выложено кирпичом «1912 год». Кто его построил, неизвестно. Дом, в котором живу я, построил Крылов. Говорят, работал бухгалтером у братьев Нобелей. Так и говорят: у братьев. Возможно, в этом есть какой-то затаённый смысл. Вдову Крылова мы застали на этом свете. Она жила в одной из квартир, в целых трёх комнатах. Жила и жила. Такая крупная, высокая седая бабушка. Бывшая хозяйка всего этого дома, она казалась нездешней. Она всегда почему-то молчала. И ни во что не вмешивалась, и ни с кем не общалась. Если что-то и могло задеть её за живое, то это «что-то» находилось не здесь, не среди нас, обитателей, заселивших её жилище, поделённое теперь на восемь крохотных квартир. Выход из каждой был устроен через балкон с лесенкой. С моего балкона было видно море. Часть нашей бухты. И с твоего тоже. Мы просыпались и смотрели на море. Рассветы над ним были сиреневые. Фиолетовое небо по утрам — это от Бога! Наташка Ханова, в которую я влюбился в шестом классе, носила фиолетовые колготки. Я бегал на третий этаж нашей двести третьей школы смотреть, как она ходит по коридору на переменах. Сколько длились наши школьные перемены? Пять минут, десять? Вот, я забегал на этаж, на котором находился её класс, искал встречи с ней, проходил мимо, не смея глянуть в лицо, а потом смотрел ей вслед, и у меня кружилась голова от её сиреневой походки. Наташка жила в десятом доме по той же улице Тимченко. Идём, Вало, в сторону десятого?

— Идём, Вало.

А всё равно не дойдём. Свернём на Ханлара, мимо «шмоньки» (мореходного училища для некомандного состава) и придём к нашей школе. Оливковые деревья перед фасадом. Как мы любили кидаться маслинами друг в друга по осени! Белый сок зелёных ягод потом чернел на наших пальцах и долго не отмывался. Ты помнишь, Вало?

— А помолчим, — отвечаешь ты. Я угадал? Именно так бы ты мне ответил, окажись мы сейчас возле наших маслин.

Замолчав, я бы вспомнил Наташку Ханову и тот первый школьный вечер для шестиклассников, на который мы с тобой пришли. Я мечтал увидеть Наташку, я мечтал видеть её, не короткое мгновенье на перемене, а может быть, час или два, сколько там длился вечер для шестиклассников? Может быть, даже пригласить её на танец, а если повезёт, и заговорить с ней. И услышать её голос. И предложить ей дружбу. Мы тогда предлагали девочкам дружбу, чтобы иметь право провожать их после школы, помогая нести портфель. Но тебя не пустили на вечер. Строгая учительница остановила тебя решительным жестом крепкой руки и, ткнув пальцем в живот, спросила:

— Ты в чём пришел?
— Свитер-да, — ответил ты.
— Другой не мог надеть?
— У меня другого нет.

— Какая разница: есть, нет? Постирать не мог?

Твой белый свитер был запачкан пятнышками, может, неустранимого сока от маслин, а может, и мазутом от наших кирпичных камней.

— А ты что встал? — обратилась она ко мне. — Проходи давай.

— А Вова? — спросил я, ещё не теряя надежду.

— А Вова пусть домой идёт! Праздник всё-таки!

И мы пошли домой вместе.

— Ты оставайся, Вало, — говорил ты мне.

Но как я мог остаться? Ведь прогнали не просто тебя. Когда мы вернулись, и сидели на лесенке моего балкона, и молчали. О чём мы молчали, Вало? О том, что твой отец дядя Егиш, вернувшись с войны инвалидом, не мог работать в полную силу? О том, что пятерых детей, среди которых ты был третьим, они с твоей мамой Агоник поднимали на её зарплату продавца и его не совсем большую зарплату? О том, как ты любил свою бабу, бабушку, при-

езжавшую из Нагорного Карабаха? Помнишь, как ты кричал в окно через дорогу:

— Вало! Бабо приехала, иди орехи кушать!

Я, конечно же, шёл к тебе. Мешок с очищенными грецкими орехами стоял на кухне, их можно было кушать сколько душе угодно. Тогда я даже не задумывался: каким образом твоя старенькая бабо могла довезти целый мешок орехов и поднять его на второй этаж? В голову не приходило задуматься. Орехи в доме, значит, бабо приехала. А ещё пастила, такая кисло-сладкая, а ещё чернослив, а ещё курага и, конечно же, новые джорабки, плотные шерстяные высокие цветные носки, с преобладанием в них красных и черных полей, соединённых орнаментом из жёлтых и белых нитей. Ты примерял джорабки. А бабо молча смотрела на тебя тихими добрыми глазами. Она сидела на табурете, в своих неизменно чёрных одеждах и чёрном платке, аккуратно покрывающем её седую голову. Тот белый свитер тоже связала тебе бабо.

— Не плачь, Вало, — сказал я, увидев, как из твоих глаз вдруг покатились слёзы.

— Понимаешь, — сглатывая обиду, сказал ты, — я не из-за себя плачу.

Как раз это я понимал, такая же обида стояла и в моем горле.

— А почему вы здесь? — вдруг спросила моя мама. Мы не заметили, как она подошла.

Мы сказали ей, почему не пошли на вечер.

— Дай Вове свой другой свитер, — предложила она.

— Нет, не надо, — сказал ты.

— Я дам тебе вот этот новый, а сам надену старый, — предложил я.

— Я сейчас вынесу, — сказала мама.

— Не надо! — остановил её ты. — Я не надену. Как я надену? Все знают, что это Вовин свитер.

Ты не закончил восьмилетку. Ушёл в ученики парикмахера и вскоре стал мастером. Потом сдал на права и стал шофёром.

Как здорово, Вало, что ты жив!

И будет «КамАЗ»

— Вало, приезжай ко мне в Ставрополь.

— Обязательно приеду.

— С Шурой приезжай.

— Обязательно с ней. Как же без неё.

А «КамАЗ» будет?

Ты смеёшься: «Найдём «КамАЗ», — обещаешь ты.

В то лето, когда я приехал в отпуск с молодой женой, ты был уже матёрым шофером, и под твоими окнами постоянно стояли: государственный «КамАЗ» и собственный «Москвич». Мой российской жене многое в нашем городе казалось диковинным, а порой и диким. Помнишь, как она спросила тебя: почему «КамАЗ» постоянно стоит под окнами? И как просто ты объяснил ей порядок вещей.

— Па-анимаешь, Шура, — лениво сказал ты, — машина стоит, никому не мешает. Путёвку мне с утра выписывают на восемь пятьдесят в день. Я кому надо пять рублей отдаю, машина стоит.

— Восемь пятьдесят минус пять, тебе остается совсем ничего? — потеряется в твоей логике моя российская жена.

— Мне остаётся работать! — продолжиша ты посвящать нас в свою мудрёную арифметику, — за восемь пятьдесят с утра до вечера ездить надо. Бензин тратить. А так машина стоит. Все видят: «КамАЗ». Минимум один частный заказ в неделю я получу, а хороший заказ — это месячная зарплата. Па-анимаешь, месячная зарплата за один день работы. Вот и посчитай: что больше, что меньше?

А помнишь, как мы ездили на пляж? Мы с Шурой ещё спали на нашем балконе, когда раздался твой голос через дорогу:

— Вало! На пляж поедем?

— Ну что, поедем? — спросил я жену.

— Поедем, — сладко просыпаясь, согласилась она.

— Поедем, Вало! — отозвался я, взбираясь на перила балкона, чтобы сорвать для любимой гроздь винограда.

— На чём поедем? — спросил ты. — На «Москвиче» или на «КамАЗе»?

— Выбирай, — предложил я жене.

— А можно на «КамАЗе»? — осторожно спросила она. — На «КамАЗе» я вообще никогда не ездила.

— На «КамАЗе», Вало! — крикнул я.

И мы поехали на «КамАЗе». Помнишь, когда остановились возле магазина, чтобы купить воду и фрукты, а я попытался достать кошёлёк из кармана, как ты обиделся:

— Вало, совсем российский стал? Сиди в машине и не выходи.

Пока ты выбирал арбуз и фрукты, жена заволновалась:

— Вова, купи что-нибудь. Так же нельзя, чтобы всё он покупал.

— Нет, — ответил я, — нельзя, чтобы я покупал. Он пригласил. Такой порядок.

— Мне неловко, — призналась Шура.

— Потом мы пригласим. Мы угостим. Будет ловко.

Вскоре жену мою ожидал ещё один бакинский сюрприз. Когда мы свернули с трассы на пляж, справа от дороги на ржавом железном щите свежей синей краской было выведено: «Автотранспорту въезд строго запрещён!»

— Вова, ты не заметил? Там написано!.. — воскликнула Шура.

— Что написано? — спокойно спросил ты, выруливая на берег.

— Транспорту въезд строго запрещён, — взволнованно сообщила она.

— У нас на каждом углу написано — «Слава КПСС!». Что теперь, с ума сходить и верить? Видишь, сколько машин стоит? — кивнул ты на легковушки, оставленные перед песчаной прибрежной полосой.

Мы зарулили на песок и подъехали поближе к морю.

— Не надо волноваться, Шура, — успокаивал ты мою жену, когда мы расстилали покрывало и выгружали на него съестные припасы, — у нас всё просто. У кого денег нет, тому запрещено. У кого деньги есть, тому разрешено.

Вскоре вдоль ряда легковушек поехал гаишник на мотоцикле. Он подкатывал к каждой машине, о чём-то коротко переговаривал с водителем и ехал к следующей. До нас по песку ему было не добраться, потому он просто замахал руками в нашу сторону.

— Ладно, — сказал ты, — пойду ему уважение сделаю. — И сам пошёл к гаишнику.

— Что такое уважение? — спросила меня Шура.

— Это элементарная взятка, — пояснил я. — Кушай фрукты, купайся в море, всё оплачено.

— Сколько дал? — спросила Шура, когда ты вернулся.

— Сколько положено, ни больше, ни меньше, — просто ответил ты.

— Кажется, я начинаю понимать, почему Вова в Россию уехал, — вздохнула моя жена. — Как можно жить там, где взятку догадались «уважением» называть?!

Мы подошли к морю, Каспий лёгкими накатами тёплой волны ласкал наши ступни.

— Я бывал в России, — ответил ты, — вы все там как в армии живёте. Всё нельзя и все боятся. А здесь не надо бояться. Если хочешь, то можно.

И мы упали в море, тёплое солёное добре.

— Приезжай, Вало, — говоришь ты с экрана монитора, — море не могу обещать, сам понимаешь, но «КамАЗ» обязательно будет.

— Обязательно приеду, Вало. Жди.

Эти строки

Эти строки, Вало, я написал, выключив компьютер, выскочив из скайпа, из этого волшебного пространства, в котором мне так хочется встретиться с Лианкой Гегечкори, с той же Наташкой Хановой, с Ленкой Козловой, с чудесными девчонками и рассказать им про айлант. Но прежде в своём жизненном пространстве я хочу поклониться человеку, который уже не выйдет в Интернет. Это Якуб Мамедович Мамедов.

Якуб Мамедович Мамедов

— «Бугай»!!! — кричал кто-то из младшеклассников, и все разбегались врассыпную от туалета, где было накурено, или из класса, где шальными ловитками партии сдвигались невспад, или просто из коридора, с глаз долой, по лестнице на второй этаж. Не знаю, кто запугал нас этим страшным словом, но мы искренне боялись нашего директора, который и в самом деле казался нам огромным, крупным, беспощадно строгим.

В старших классах многие вытянулись ростом повыше Якуба Мамедовича, и нелепое прозвище отпало от него, исчезло, испарилось. Он руководил школой и преподавал азербайджанский язык. У него было доброе лицо и действительно строгое отношение к моментам жизни, в которых он оставался «бугаём».

Каждое утро он встречал нас у дверей школы. Сам проверял наличие дневников и форму одежды. Форму как таковую старшеклассники не носили, а вот светлый верх, тёмный низ были обязательны. Дверь открывалась без пятнадцати восемь, и каждый из нас мог пройти в неё, предъявив директору дневник. Но даже с дневником проходил не каждый.

— Вах, вах, вах! Ты смотри на него! — Якуб Мамедович указательным пальцем подманивает к себе одного из старшеклассников. — Какие джинсы у него! Вах, вах, вах!

А джинсы стоили тогда побольше месячной зарплаты многих наших родителей.

— Что ты, дарагой, хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что у твоего папы деньги есть? А у их папы денег нет? А может быть, у кого-то из них вообще папы нет?! Им теперь что делать? Иди домой, паразит такой,

надень нормальные штаны, потом приходи! Всё! Иди!

Доставалось и девчонкам за цепочки, серёжки, браслетики.

В седьмом классе я не сдал переэкзаменовку по геометрии и отучился два года подряд. После этого меня затошило от школы. Да и мальчишки, среди которых я рос, в пятнадцать лет, как правило, завязывали с дневным обучением, шли обретать профессию. Сосед мой Витя Гаврилов к восемнадцати годам поднялся до токаря четвёртого разряда на Мухтаровском заводе. Он предложил мне идти к нему в ученики.

— Обучаться будешь половину рабочего дня, пока несовершеннолетний, зарплата шестьдесят рублей. Через три месяца сдашь на разряд, там по сдельной сетке начнётся нормальный заработок. Короче: успею я до армии смену себе подготовить.

Но в отделе кадров завода пояснили, что несовершеннолетних принимают на работу при наличии письменного разрешения какой-то комиссии при районе. Мы с мамой поехали в центр города. В старинном особняке недалеко от кинотеатра «Низами» нас выслушала внимательная женщина.

— Так, значит, мама согласна, — уточнила она, — но этого недостаточно. Надо ещё согласие школы. Я позвоню.

Она набрала номер. На том конце провода её выслушал Якуб Мамедович Мамедов и что-то прокричал в ответ.

— Извините, — обратилась к нам вежливая чиновница, — но вам придётся подождать. Директор сейчас подъедет.

Минут через пятнадцать под окнами особняка круто затормозило такси, и возбуждённый Якуб Мамедович ворвался в кабинет.

— Спасибо, что позвонили, — сдержанно поблагодарил он чиновницу. — Всё! От меня никаких согласий.

— Выходите, садитесь в машину, — это уже нам с мамой, — выходите, я сейчас. В школу поедем. Говорить будем.

В школе я долго ходил по коридору, пока Якуб Мамедович беседовал в своём кабинете с мамой. Он спрашивал её о причинах моего решения, соглашался, что в одиночку нелегко тянуть двоих сыновей. Гарантировал материальную поддержку от школы и с зимней одеждой, и с обувью. Надо будет ближе к сентябрю написать заявление о помощи. Извинялся за то, что не проследил факт моего второгодничества. Конечно, геометрия — это ерунда. Но он был в отпуске, а «классная» поспешила

оформить мою неудачную переэкзаменовку документально. Он бы не допустил. Но ей зачем-то это было надо. Год прошёл. Теперь об этом думать поздно. Будем выправлять ситуацию. Парня нельзя отдавать ни в какую вечернюю школу...

Мама вышла из кабинета со слезинками в глазах.

— Что случилось?

— Ничего. Иди, он тебя зовёт.

Якуб Мамедович начал свой монолог, едва переступил порог его кабинета.

— Ты куда собрался? Какой завод? Какой токарь? С твоей головой минимум восемь классов надо заканчивать и техникум. Это минимум! По-твоему, я здесь сижу, чтобы людьми на сторону разбрасываться?! Мама меня поняла. Учиться будешь! Под моим личным контролем учиться будешь! Я тебя первого сентября сам лично в класс приведу!

Он так и сделал. Первого сентября привёл меня в 8 «А», вызвал в коридор классного руководителя Эсфирь Исаевну и сказал ей:

— Вот вам новый ученик. Если только перестанет ходить в школу, сразу извещаете меня! Его посещаемость полностью под вашей ответственностью.

И ушёл. Эсфирь Исаевна посмотрела на меня несчастными глазами. Что она могла знать обо мне? Только то, что знали другие учителя и родители со слов моей бывшей классной руководительницы: по точным дисциплинам круглый троекщик, лентяй, хулиган, драчун, курильщик, доходят слухи, что вино попивает. Моя бывшая «классная» рекомендовала родителям ограждать детей от общения со мной. Я и сам сжался с этим образом и впадал в него, переступая порог школы.

Но теперь моим союзником стал сам Якуб Мамедович. И мне вместе с ним хотелось верить в то, что «с моей головой... Минимум восемь классов! Минимум техникум!».

— Всё будет нормально, — успокоил я Эсфири Исаевну, — всё будет хорошо.

Так оно и случилось. Закончив восьмой класс, я поступил в техникум. Но через неделю мне там не понравилось, и я решил забрать документы, чтобы вернуться в школу. Но документы не отдавали.

— Вот к Новому году мы вас отчислим за непосещаемость, — сказали в учебной части, — тогда и приходите за документами, а так не положено! Для чего поступал? Для чего чужое место занял?

Якуб Мамедович встретил меня радостно.

— Молодец! — сказал он. — Молодец! Я так и думал! Приходи, учись. Отметки получай. Мы пока тебя зачислим условно. Документы вернут, зачислим официально. Какой там техникум? С твоей головой!

На выпускном вечере я сфотографировался с Якубом Мамедовичем. Среднего роста мужчина лет пятидесяти. Спокойное, доброе, мудрое лицо. Ясные и чистые глаза, которыми он видел моё будущее: десять классов и институт, как минимум!

А заявление на матпомощь в том далёком сентябре мама так и не написала. Постеснялась.

Обувь и пальто мы купили сами.

Вот и оживает мой конь из воспоминаний, скомканных в пластилин, поднимается на дощечке от посылки из прошлого. Крепнет, он скоро задышит жадными живыми ноздрями. Скоро, скоро...

Тихое дыхание. Таня

Мне 22, ей 32, я скоро уезжаю. Кончается лето. Я увольняюсь из Бакинского театра. Осенью должен быть на Урале. А у неё сломался проигрыватель. Модный по тем временам стерео, для виниловых пластинок с регуляторами, как на пульте. Сломался и молчит. И мы не слушаем Поля Мориа. Ночи тихие, те ночи, когда мама её дежурит на работе, а я могу выходить из этого дома с восходом солнца. Все мастера в городе бессильны, никто не может понять, отчего проигрыватель замолчал. Все бессильны, но у меня есть Славка Беня. Я приезжаю с ним однажды днём. Он скромно чешет свой рыжий затылок и «ныряет» в проигрыватель. Через полчаса зазвучала музыка. Поль Мориа. Наши души царапаются в небо.

— Славка, сколько? — спрашиваю я.

— Нисколько. Пойдём?

— Я не пойду.

— Не понял? — искренне удивился он.

— Присядь, выпей с нами вина.

Славка выпил с нами сухого вина и окончательно ничего понял. Через несколько дней он упрекал меня в том, что я понтовался.

— Я её сразу узнал, — смеялся Славка, — при чём здесь ты?! Весь город знает, что она актриса. Она идёт по улице, машины останавливаются, люди ею просто любуются!

Осень наступила, и я уехал. Через девять лет я вёл своего семилетнего сына от бульвара к Сабунчинскому вокзалу познакомиться с хорошей тётей. Я держал сына за руку, он жало-

вался на то, что солнышко нажгло ему ступни через асфальт. Он не хотел в гости.

— Ну, вот мы и дошли. Вот видишь, какой красивый вокзал.

— А где тётя?

— Чуть дальше, слева, видишь?..

Но слева весь квартал одноэтажек был перекрыт высоким забором. Я посмотрел в щель между досок и увидел огромную пустую площадку, по которой ходил бульдозер, доминая остатки всего, что там было.

— Мы не пойдем к тёте? — спросил сын.

— Нет. Теперь не пойдём.

— Я пить хочу.

— А вот вокзал.

На Сабунчинском мы нашли воду и, естественно, кутабы, и я смотрел в сторону бульвара. И говорил сыну молча, чтобы он слушал душой.

Мы с тобой шли от бульвара, а в моей жизни бывали дни, когда ранним утром я выходил из того дома, ну, которого теперь нет, и шёл в сторону моря, солнце поднималось мне навстречу, тяжёлое утреннее не жаркое, про-

буждая запахи акаций, жасмина и всего, что цветёт.

Троллейбус номер один не успевал пронуться, и мне приходилось пешком доходить до дома. Мимо фуникулёра, паркоммуны, пожарки. И всё равно я успевал поспать часика два до утренней репетиции.

Ты спросишь, сын, почему я не позвал эту женщину с собой?

А я позвал. Но мне было 22, ей 32. Она ответила, что десять лет — это пропасть, через которую нам не перепрыгнуть, и что она уже не решится рожать детей, а мне надо строить свою жизнь.

Потом она писала мне письма в Сибирь и присыпала посылки, в которых были небольшие бутылочки азербайджанских коньяков и дорогие американские сигареты. Зачем она это делала? Не знаю.

Я тоже написал ей пару писем, кичась тем, что жизнь продолжается.

Сегодня, сынок, я просто хотел познакомить тебя с очень красивой женщиной. Я хотел сказать ей: «Здравствуй, Таня».

Владимир БУРЛАКОВ родился в Баку в 1955 г. Окончил Литературный институт (семинар драматургии В. С. Розова и И. Л. Вишневской). Драматург, прозаик. Член Союза писателей России. Лауреат Всесоюзной премии имени А. Вампилова. Живёт в Шадринске.



Ольга Кольцова

Отросток древа мирового...

* * *

Седьмая вода, по традиции, на киселе.
Текут простоквашей молочные реки в моря.
Тритон толстогубый кривляется, навеселе,
и парус белеет над лужей Маркизовой зря.

Молочные зубы кисельную память хранят;
крошились брикеты, добыты в соседнем сельпо;
дымялся асфальт, антрацитовый вар, концентрат,
великим потопом их смыла река Лимпопо.

На берег кисельный Катюша брела под гармонь,
и яблоки зрели, но не вызревали дички.
Молчи, грусть, молчи, и молочную пенку не тронь.
Мартышка в очках нацепила вторые очки;

таращит глаза дальноворко, себе на беду,
не видя того, что под носом, всего в двух шагах.
Седьмою водою, неведомым бродом бреду
на берег ненастный, а дело табак, дело швах.

* * *

То ли уведено, то ли украдено...
Арк. Штейнберг

Светлому — тьмою колода цыганская,
карта краплённая, лунный аркан;
солнце погасшее, пляска шаманская,
ветра и века холодный чекан;
лживая времени разноголосица
битым стеклом оседает в крови,
имя заклятое не произносится,
не отзовётся, зови не зови;

жирная гарь застит небо глубокое —
пеплом и дымом несбытийных дней, —
многоочитое, павлиноокое —
страж ослеплённый над царством теней;
над асфоделями вьются стервятники,
над асфоделями сизый туман;
чёрные вороны, белые ратники
и уплывающий вдаль караван.
Белым по чёрному, чёрным по белому,
трижды по дереву, через плечо —
весть онемелому, знак пустотелому:
холодно, ближе, совсем горячо.

* * *

В загустевшую явь, в эту каплю камеди янтарной, —
горький ветер судеб рвёт с покорных деревьев листву,
души наги, и стыд не даёт им держаться попарно, —
погрузись в эту явь, в этот морок и в сон наяву.

Одинокий исход из привычного ветхого тела,
здесь никто никому не любимый, не сторож, не брат;
над могильной плитою эолова арфа запела,
по ушедшем творя бессловесный печальный обряд.

Нежный воздух нездешний на нежити густо замешан,
только ветер свистит, куролесит и носит беду.
Над простором пустым — ни руки, ни пшена, ни скворешен;
остывая, скользят облака по непрочному льду.

* * *

Отпускаю. Опустело.
Отлетает. Улетело.
Тополиный горький пух.
Снег, присыпавший болотце.
Свет из глубины колодца.
Впрочем, свет давно потух.

Свет погас, — лишь временами
эти всполохи над нами
из надмирных эмпирей.
Вздрогнет сердце от укола,
от тяжёлого глагола
вызубренных букваций.

Замотает омут тихий,
догоревшие штухи,
ведьмин круг на глади вод —
или кольца годовые,
даровые, дармовые,
не ценимы наперёд...

* * *

Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь...
Владислав Ходасевич

Да, но только напомни — зачем и куда
подниматься над тёмной водой,
если путь ограничен громадою льда
и дрожащая в небе мерцает звезда
над житейской дурной ерундой;

если ветер в лицо, и кровавый закат,
и сияния лживая суть,
наугад подниматься из гнилостных блат,
но затянет трясина, не взглянешь назад,
впереди — белоглазая чудь;

и ожившие призраки памятных дней,
хоровод искажённых теней,
и ночная несётся четвёрка коней,
и тревога клубится над ней.

Ледяная преграда маячит вдали,
и «Титаник» сияет в ночи,
и вдали от устойчивой милой земли
кто-то ищет пенсне и ключи.

* * *

Отросток древа мирового
в полёт готовит семена,
листва пока что зелена,
и пятна света — лишь основа
вневременного полотна;
пространством даль опьянена,
и рыбарь в сети ждёт улова.

Но все взыскательней и строже
ложатся тени на чело;
до срока время утекло —
лучом, пронзающим до дрожи,
ожог оставившим на коже
сквозь утолщённое стекло.

И, боже мой, в мирских погонях
попробуй сердце урезонь:
не затвердела оболонь,
вскипает кровь в небесных тонях;
и опаляет, только тронь:
огонь, мерцающий в ладонях,
ладонь, гасящую огонь.

* * *

Молчанье твоё — каравелла под парусом
белым...
Ф. Пессоа. Абсурдный час

В ветвях антрацитовых воздух бемольно-диезен;
порою бекарен, но это недоразуменье;
этюд не разобран, не сыгран, не душеполезен;
смешается фокус, двойное размытое зренье;
смежаются веки и сходятся створы стеклянных
дверей, за которыми голос невольно немеет;
такие дела; на сквозных земляничных полянах
минорный аккорд разрешиться в мажорный не смеет;
слова — серебро, но оно предпочтительней злата,
пусть чернью подёрнуты звуки, и знаки, и ноты;
палата ума — и какая по счету палата? —
над вечным покоем лагуны — лакуны, длинноты.

* * *

Всадник путь проторил,
что ни гряда — то межа.
— Что там, мой господин?
— Больно, моя госпожа.

Всадник отрезал путь,
рана открыта, свежа.
— Всадник, позволиши взглянуть?
— Страшно, моя госпожа.

Всадник и вестник вдвоём,
на свинце витража.
— Чем грозит окоём?
— Смертью, моя госпожа.

Всадник, позволь печать
вскрыть — и уйти во мглу:
— Я не могу отвечать,
я на ином берегу;

Духом с тобой един,
не отступаю, дрожа.
.....
— Я с тобой, господин.
— Я с тобой, госпожа.

* * *

Несмываемый знак, шутовское клеймо
на плече, на запястье, на лбу;
растворённая соль, невесёлое «мо»,
преступаемое табу;

птичий профиль и взгляд

в заповедную тьму —
маска Тота примёрзла к лицу;
проводатый мой, верю тебе одному,
Трисмегисту, Гермесу-писцу.

Не оступишься, — я же назад не взгляну, —
кто там сердце кладёт на весы, —
проводжаю луну и встречаю луну;
серебрятся на башне часы;

проводжаю закат и встречаю закат,
соляным притворившись столпом;
искажается даль кривизной лемнискат,
нараспашку душа, и судьба напрокат,
и сухим выдаётся пайком.

* * *

Ночная жизнь,очные голоса,
быльё и быль, всё призрачно-туманно;
пыль антрацитовая, мягкая пыльца,
тельца психейочных вокруг экрана.

Давай чужие подбирать слова,
рассыпанные некогда столь щедро.
Вербена, дрок, Офелия мертвa;
убит поэт, но знаменита Федра.

Быльё, Cassandra, память, чернобыл —
пророчествам в словах найдётся место;
вдали от Даля воздух мёртв, бескрыл,
полшага от Ореста до ареста.

Кровосмесительство, смешение кровей,
отмщенье кровников, родство или юродство;
над суходолом веет суховей;
подобью уподобленное сходство.

* * *

Низко тени скользят по ещё не отмёрзшей земле —
это ветер с налёту ударили в сырое окно;
негатив проявляется на воронёном стекле,
и бесснежно на сердце, и сердце тревогой пьяно.

Не весенняя грязь, но безуглая чёрная хмаря.
Märzensterben готовит Касьян, ибо март на дворе.
Словно висельник, пляшет фонарь, и бубнит пономарь,
и краплёною картою джокер глядит из каре.

Не садись-ка ты с чёртом играть, хоть и с виду пригож,
Богомолка, черница, накинь свой покров жалевой;
Видишь, в кружку твою опускаю единственный грош
и кровавый закат растекается по мостовой.

На погосте могилы простёрлись в четыре конца.
В средостенье креста под немолчный стою перезвон,
и не видно лица, разве встречу тебя, близнеца;
не до свадьбы дотянем — по крайности, до похорон.

* * *

Оборони, заступник и печальник, —
ноябрьский свет пронзителен и чист;
не нарушай обета, мой молчальник,
над долом посвист, над землёю свист
чуть слышный, время призывает время
и облекает перстью тленной дух,
и обрекает человечье племя
из тымы призвать незрячих повитух;
от первого адамова соблазна
до кайнова горького греха
роль агасфера нынче несуразна —
пасти народы, славить пастуха... —
да полноте, уже горят поленья,
уже ведут кого-то на костёр;
под крик толпы, в чаду столпотворенья
крыла Денница в вышних распострё.

* * *

От пирамид в песках — до пирамидок,
врачующих плацебо-неофиток,
извечный fin de siècle который век;
от золота эпохи фараонов
от позвонков эпохи Эхнатонов —
как от Потопа — до разлива рек;

все поистёрлось — дряхлые менады
выводят плачи, иеремиады,
Кастальский ключ в Касталии умолк;
не шахматы — маджонг иль просто мора,
не просчитать мажора ли, минора:
бежит по снегу Одинокий Волк;

прости же, фельетонная эпоха,
ты не дала ни выдоха, ни вздоха —
дыханьем не наполненная речь
немеет во всемирной паутине,
не кракелюры — шрамы на картине;
таким глаголом сердца не обжечь,

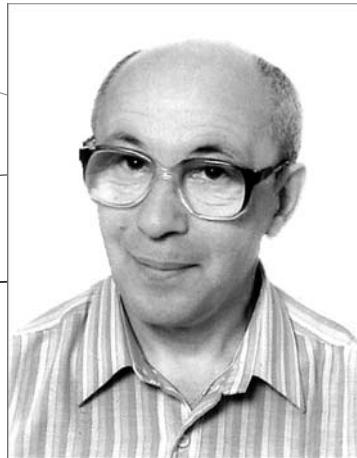
но разминать натруженную глину;
сосуд скудельный — куклы на витрину,
где возведён рождественский вертеп,
откуда — дай-то бог дождаться зова,
где сказано: в начале было Слово;
но оловом до срока залит склеп.

Ольга Кольцова родилась в Москве, окончила факультет журналистики МГУ.

Печатается с 1978 г., как поэт — с 1987 г.

Первые публикации появились в советской газетно-журнальной периодике. Поэтические произведения печатались в русскоязычных изданиях США: «Новом журнале» (Нью-Йорк) и альманахе «Встречи» (Филадельфия), а также в журнале «Новый берег» (Копенгаген).

С конца 1980-х годов занимается переводами. Публиковала переложения с немецкого (В. Буш, А. Маргул-Шпербер, В. Айхельбург) и английского (Р. Фергюссон, Дж. Китс, О. Уайлд, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, Р. Саути), а также стихи современных поэтов Индии. Автор книги стихотворений «Несвобода» (2007). Лауреат литературной премии «Серебряный век» (2008). Член Союза писателей Москвы.



Сергей Магид

Из третьей книги

* * *

я ночью ползаю по кухням одиночеств
ищу вслепую смыслы снов
но вяло в глубине пророчеств
виляет плавниками мой улов

а ночь гниёт, в ней застrevает небо
над головой провисшее в пути
и мечется язык и всё нелепо
и слов для жизни не найти

* * *

утром чувствую Христа
как рубашку на спине
норму с чистого листа
начиная в полусне

утром чувствую свой ум
исторически простым
не изношенным от дум
и животно молодым

утром чувствуется день
как ступенька в небеса
как окошко в чудеса
для которых жить не лень

утром в город выхожу
удивляясь каждый раз
что вообще ещё хожу
открывая рот и глаз

* * *

предпочитать разнообразие формы
политическим метаморфозам
не стремиться к цели
живь и зимой — собранным и тверёzym
подобно ели

стоять в духе смотреть непременно влево
слушать покой вселенной
тропе военной
предпочитая вечное древо

уходящее корнями опыта и сознанья
в пространство меж облаком и травою
там где единственное заданье —
быть собою.

* * *

по всей стране справляют Рождество
последних карпов мочат в ванне
с Распятым беглое родство
отметив благостью желаний

предчувствуя себя вполне
посланьем в божеском конверте
а рядом тут — морянка смерти:
«сменить радиста». это мне

* * *

в конце лета 68-го дежурил ночью
на сто восьмой радиостанции
слушал радио люксембург
с клёвым джазом
кажется телониус монк это был или
дэйв брубек не помню
но классная тема прокручивалась в квадрат
когда рыжий сержант-сверхсрочник
по кличке микадо
сунул голову в фургон и крикнул
перекрывая ударные
серёга в бога душу мать
да лучше б я негром был в америке
чем что спросил я сверху
как что как что крикнул микадо снизу
наши же в праге заткни свой
грёбаный люксембург
голоса́ давай

пришлось вырубить телониуса монка
или дэйва брубека?
не помню.

* * *

из этноса перебираясь в дух
и так переходя из века в век, —

когда вверху хохочет папа мух,
внизу свой рок пытает древний грек
у фермопил (где сводник не пройдёт,
но пасаран, князь воздуха и лжец!), —

я здесь, где поместил меня Отец,
Который песнь военную поёт.

прощай, мой этнос, одолеть тебя
значит в себе преодолеть людей,
по местной родине бессмысленно скорбя,
живущих. но урод, предатель и беглец,
забыв тепло домашних сверхидей,
силён взлететь туда, где ястребок, балдея,
оставлен бродским вечно умирать, —

чтоб элементом духа стать
в таблице дяди-менделея...

* * *

старость есть часть жизни
проституция есть часть жизни
лесбийский брак есть часть жизни
расизм есть часть жизни
психический вампир есть часть жизни
даже умирание есть часть жизни
и только боязнь жизни есть часть смерти.

* * *

всё сравнивай (сравнимо всё со всем)
как чёрт от ладана, от априорных схем
беги, пытая путь вещей
и миску ежедневных щей
хлебая, местных и вселенских,
кормильцев хромосом мужских и женских

а главное, сравни мгновенье-смерть
с огромным долгим днём, который длится
душе и телу вопреки,
и ты поймёшь, что всё,
что надо здорово уметь, —
лишь вовремя развоплотиться
на том, на дальнем берегу реки.

* * *

мир приходит
когда люди сажают виноградник
и кончается
когда они бурят нефтяную скважину
сказал один янки

а я добавлю
исходя из нашего опыта:

когда вино этого виноградника
сажают стаканами
вместо того
чтобы баюкать его на языке.

* * *

не делать ничего
чего не хочешь знать
что бело что черно
другим не объяснять
и эту жизнь прожить
её не теребя
пощады не просить
вполне любить себя
бродя одним самим
по девственной земле
как рыцарь-аноним
проскальзывать во мгле

таков мой идеал —
капризен как артист
да, интеллектуал
да, где-то эгоист
но ловит чудный свет
из-за сырых небес
где горизонта нет
но есть миры чудес
в которых и повис
как камбала над дном
весь в мыслях об одном
ни вверх уже ни вниз
а только в точке той
где всех течений нуль

где ангелов патруль
услышит голос мой.

* * *

сестра наша смерть
Франциск из Ассизи

сестрица подскажи когда родиться
и ниццим книжечки раздать
в погоду дня преобразиться
и новых буквок не ждать

сердечный кашель-гад (существованье сидя)
дробит дыханье глотку теребя

сестрица никого вниманьем не обидит
конечно и тебя —

вы встретитесь в окне у гумилёва
вернувшись в питер августовским днём
там будут все. и с ними будет Слово.

а ты?
ты — только дождь за тем окном.

Октябрь 2009 — февраль 2010
Прага

Сергей Магид родился в 1947 г. в Ленинграде, в 1976 г. окончил филологический факультет ЛГУ. Творческой деятельностью занимается с конца 1970-х годов. Не имея возможности публиковаться официально, долгое время печатался в ленинградских и рижских самиздатовских журналах, у истоков двух из них — журнала переводчиков «Предлог» (1983–1987) и политического журнала «Демократия и мы» (1988–1990) — стоял как один из организаторов и редакторов. С 1990 г. живет в Праге. Работает в Национальной библиотеке Чешской Республики. Как профессиональный историк является редактором исторического отдела русскоязычного журнала «Россика». Автор книг стихотворений «Зона служения» (2003) и «В долине Эллах» (2010), а также книги дневников «За гранью этого пейзажа» (2011).



Александр Кормашов

Морена повесть

1

— Ну, чего смотрите? Я ведь не утверждаю, я просто говорю, она не шар. Вы думаете, я буду доказывать? Да не буду. Считайте, что мне лень. Обиделись, я смотрю. А зря. Думаете, я сомневаюсь в ваших мозгах? Да ничуть. Уж если что меня и волнует, так это ваше неверие. Вы вот не верите, что Земля имеет форму бублика. Вы верите, что я ошибаюсь. Вы верите другим людям, которые говорят, что Земля — это шар. Ну верьте. Когда-то ведь люди верили, что Земля плоская. Как блин. А потом стали верить, что круглая. Не блин уже — колобок. А я говорю, что и не колобок. Бублик, баранка, пончик. Чего это вы облизываетесь? Я понимаю, что вам хочется меня опровергнуть. Не надо этого делать. Опровергать можно утверждение, а я ведь не утверждаю. Я просто говорю, а вам большего и не надо. Вам хватит самого факта, что вам что-то говорят. Подземный город Агарти, скрытая страна Беловодье, иной мир кельтов, их полые холмы, Валхалла, Тартар, Аид... Да что с вами говорить? Ни фига-то вы не поймёте. Хотя ведь это всё объясняет. Всю эту хтонь. Ну ладно. Идите. Ну всё. Ну, идите. Идите, кому сказал! Ну!

Две гончие собаки, молодая и старая, уныло поплелись к дому. Поднимаясь тропинкой по косогору, они несколько раз останавливались, разворачивались и, робко махнув хвостами, смотрели в тёмную спину хозяина. Но тот оставался неподвижен. И всё вокруг согла-

шалось с этой неподвижностью: опушка ближнего леса, его немая зубчатая стена, косая изгородь огорода, подтопленного водой, старая банька, уже поплывшая по течению, сама река в половодье, разлив закатного света... Деревня в несколько тёмных домов была тиха тоже. Но ей это было привычно. Оставленная, безлюдная, она и так проспала всю зиму. Весь шум за неё производил ветродвигатель — старый разболтанный ветряк, поднятый на железную треногу, внутри которой был смонтирован одно и водонапорный бак. Эти ветряк и бак существовали в техническом симбиозе и братски делили рукотворный, вернее — бульдозерный холм, уже поросший ольхой. Сейчас обе лопасти ветряка были неподвижны, и верхняя, словно стрелка компаса, показывала на первую звезду, проткнувшую лиловую мембрану востока.

Собаки не любили это время бездыханности ветра, когда мир запахов стягивался вокруг них одним неподвижным коконом. От этого им становилось тревожно, хотя они давно уж принюхались и к сладкой прели согревающейся земли, и к мозглым выдохам медленно отходящего от зимы леса, будто зевавшего со сна всей звериной пастью, со смрадной, ещё не проглоченной слюной, но половодье постоянно приносило совсем новые, сторонние запахи какого-то нежилого подземного мира, от которых дыбом вставала шерсть. Им также не нравились все эти вечерние разговоры хозяина и то, как он остаётся сидеть на брёвнышке там, на кромке медленного течения; не нра-

вилась и сама река, которой бы полагалось лежать далеко внизу, быть тихой и сонной, запутавшейся в волосах тины, а лучше всего покрытой снегом и льдом, запечатанной на глухо.

Собаки тихо поскуливали, пока одна не решилась гавкнуть. Гуф! Испугавшись сами себя, обе пулей рванули к дому, взбежали на крыльце и легли рядышком на доски, прижав морды к полу, не шевелясь. Но вскоре застучали хвостами, услышав на тропинке шаги. Однако вскочили и запрыгали не ранее той секунды, когда хозяин уже шагнул на ступеньку.

— Тихо, Пальма. Тузик, тихо, сказал!

Не слыши в голосе строгости, собаки прорвались в избу и, пока человек раздевался и снимал сапоги, успели пробежаться под столом, подобрать крошки, слетали на кухню, погоняли по полу сковородку с пригоревшим блином, вылизали кастрюлю с остатками затвердевшего бараньего жира, а Тузик спёр батончик глазированного сырка и быстро его сжевал, давясь скрипучей обёрткой. Человек сел за стол и выпил в стакан остатки вина из бутылки.

— Ну что, Пальма. С Днём космонавтики! — сказал он, когда Пальма положила голову ему на колено. И чокнулся кружкой с чёрным собачьим носом. — Не лижись.

Утром он долго искал на печи вторую портянку. Та нашлась в рукаве фуфайки. Обе оказались одинаково заскорузлые. Твёрдыми, неласковыми были и подсохшие сапоги.

На улице дул ветер, по небу неслись случайные облака, не летние, не белые, не тучные — размазанные клочки мокрой ваты, но ярко светило солнце, и солнечные батареи, слабо и криво держась на шиферной крыше, отчётили погромыхивали. После двух недель затяжного, хоть и тёплого, западного циклона это был второй ясный день.

Всё утро он провёл в хлеву той избы, что ближе всего находилась к водонапорному баку и ветряку. Хлев назывался «аккумуляторной». Настежь распахнув дверь и выставив из маленького оконца стекло, чтобы ветер выносил запах электролита, он проверял каждую батарею, замерял напряжение, добавлял, если надо, дистиллированной воды. Несколько батарей показались отжившими своё, они всю зиму плохо принимали зарядку, но он не торопился их списывать. Вытащил за порог и промыл, вытряхивая чёрную жижу. Потом залил аммиачным раствором, оставил на час и снова промыл. Процедура забрала весь запас дистиллированной воды, и он выкатил на ого-

род бочку-печку, внизу которой развел огонь, а сверху опустил котёл самогонного аппарата; потом начал расправлять шланг с холодной водой — для обмыва змеевика.

Так, этап за этапом, он добирался до водонапорного бака, порадовался, как весело хлопают наверху лопасти ветряка, снял запирающий скважину оголовок и опустил в трубу насос. Вода побежала бойко, благо даже летом стояла неглубоко (скважина точно угодила в водоносную жилу, бьющую под берегом родником).

Он выключил насос, когда бак заполнился примерно на четверть. Время шло к обеду, но ему хотелось ещё успеть промыть бак, чтобы уйти, оставив воду стекать. Он снова открыл сливной кран, бывший всю зиму открытым, и бурая жидкость бойким ручьём понеслась по насыпи вниз, к реке. Не мешкая, он вскарабкался наверх, взял мерный шест и начал раскручивать, дополнительно мутить внутри бака воду.

Лопасти ветряка равномерно стучали над головой, тренога слегка подрагивала, покачивались растяжки. Тузик и Пальма лениво бродили внизу по земле, по матам прошлогодней, слежавшейся под снегом травы, в которой мыши-полёвки аккуратно, как ножницами, прорезали разветвлённую сеть дорог с чёрными провалами нор. Собаки расцарапывали когтями ту или иную нору, совали носы, фыркали. Пальма вскоре утомилась и легла подремать. Её беспородный сын удручённо лязгнул зубами на пролетавшую мимо бабочку и, задрав голову, посмотрел на хозяина снизу вверх: не пора ли, в самом деле, обедать?

Вода внутри ещё бурно плескалась, но вдруг журчанье под баком стало затихать, вода перестала течь. Он попшуровал шестом там, где полагалось быть сливному отверстию, помутил, повзбалтывал воду, но всё бесполезно. Спрятав на землю, он потыкал в кран куском толстой проволоки. Струйка ржалой, затхло пахнущей жижи толще от этого не стала. Тогда он сходил за газовым ключом и попробовал свернуть весь кран целиком, но тот с годами прикипел намертво.

Стоило бы промывку отложить, приготовить обед, покормить собак, отдохнуть, но хотелось закончить дело. Шест ему показался слишком хлипким, и он сходил к косой изгороди, вытащил из неё берёзовую жердину понадёжнее и вновь забрался на бак. Померил — оставалось не выше сапога. Он скинул фуфайку, установил жердь и скользнул по ней вниз. Ноги сразу стиснуло ледяным холодом. Затхлый канализационный запах с си-

лой ударила в нос и пробила до самого желудка. Действовать нужно было быстро. Он закатал рукав рубахи по плечо, сунул руку под воду, нашупал там отверстие слива, расчистил его и вскоре убедился, что жижа начала потихоньку утекать сквозь занемевшие пальцы. После этого распрямился и дальше уже работал то одной, то другой ногой, отскребая грязь с днища сапогом и стараясь посильнее взбаламучивать воду.

Он сильно замерз к тому времени, когда вода из бака ушла. Чтобы разогреться, сделал несколько физических упражнений, растёр и разогрел руки, потом взялся за жердь и установил её с некоторым наклоном, чтобы верхний конец не болтался в люке, как в проруби. Всего два рывка, всего два захвата ногами, два подтягивания на руках, и он уже почти уцепился пальцами за острую железную кромку люка, когда от последнего движения нижний конец жердины вдруг сдвинулся с места, плавно поехал, гулким выстрелом треснула гниловатая берёза, переломилась, а он, не успев сгруппироваться, упал, ударившись головой о железное дно.

2

Вся эта огромная, самая обширная на планете, никем ещё не измеренная, никем не проходимая за одну жизнь, на юге уныло плоская, лишь к северу вспученная холмами, но всюду изрезанная полноводными реками... вся эта пока безымянная равнина, которая только через много тысячелетий станет именоваться Русской, но никогда Великой Русской равниной, поскольку пришедший сюда народ слишком скоро, одолев горы, перельётся на другие равнины, ища себе естественные пределы... вся эта равнина, которая уже больше не сменит названия никогда, пока Земля во всём не уподобится Марсу, безжизненному, безводному, с чёрным небом и белой россыпью немигающих, не подмигающих человечеству звёзд (быть может, тогда уже другая цивилизация придумает ей и другое название)... вся эта равнина на всю длину взгляда и во всю ширь воображения лежала теперь к югу от его ног.

Сам он стоял на вершине морены, каменного хребта, длинной и высокой гряды разнородных камней, притащенных сюда ледником, притолканых сюда, принесённых вмороженными в лёд и сброшенными здесь, на последней линии обороны, когда южные ветра окончательно остановили продвижение льдов, а затем погнали их назад и отодвинули далеко на север.

На север он не смотрел. Там, к северу, до самого горизонта уже плескалась вода, одна вода, очень много талой воды, не могущей пробить себе путь к первобытному солёному океану — ни прямо, по руслам перегороженных рек, ни с запада, ни с востока в обход — и слившейся здесь, наконец, в одно сплошное море-озеро. Волны этого моря теперь денно и нощно бросались на рваную стену отступающего льда, как на выставленные из земли зубы, не молодые, не белоснежные, но жёлтые, с провалами и щербинами и съеденные, словно у старика. Впечатление усиливалось ещё и тем, что сверху ледовый щит был словно присыпан пеплом, но больше слоями пыли, наносимой суховеями с дальних, непрестанно разрушаемых гор. Из-за этого близнение части ледника больше походили на горное плато, местами сырое, болотистое, местами бугристое и просохшее, где вытаявшие россыпи оголённых камней потихоньку покрывались лишайником, а в тонкий слой почвы судорожно вцеплялись зелёные мхи и мелкая жёстколистая травка.

Несколько птичьих стай каждую весну отправлялись к леднику на разведку, но только желтоногие олуши облюбовали его неверную сушу для постоянного гнездования. Им, улетавшим зимовать к другому полюсу Земли, было, в сущности, взмах крыла пронестись над лишним пределом здешнего пресноводного моря, столь богатого жирной рыбой и мягкотелыми раками, кишащими на галечных отмелях, где всё лето истаивали грязно-сизые глыбы льда, нагнанные туда в период штормов. С высоты эти глыбы представлялись цепью мощных каменных валунов, но вода неумолимо подтасчивала их снизу, и через какое-то время, постояв в виде перезрелых грибов, валуны вдруг совершили кувырок и навеки пропадали в волнах. Дальше к северу не различалось уже ничего — только мельтешение птиц, целый день заполнявших собой весь клин воздуха между небом и морем.

А морена не спала даже ночью — белой, мглистой, слишком короткой, чтобы птичий базар успевал успокоиться. Птицы занимали здесь каждый более-менее ровный уступ или камень. День и ночь они улетали и прилетали, толкались, клевались, дрались крыльями и откладывали яйца чуть не на лапах друг у друга. Редко какое-нибудь иное существо отваживалось сунуться в это царство. Грязный летний песец иногда скрытно прокрадывался наверх, но его скоро обнаруживали и набрасывались всей стаей, сбивая с ног ударами крыл и нещадно долбя клювами до тех пор, пока

незадачливый герой, загнанный в расщелину или пойманный на узкой тропе, без возможности развернуться или попятиться, не срывался с уступа вниз, и затравленный оскал с его морды не сходил даже после смерти.

Крупные мудроголовые волки временами приближались к гряде, но никогда не обращали внимания на самих птиц. Старшие волк и волчица вспрывгивали на высокий валун и могли сутками сидеть там неподвижно, взглядываясь в равнину, видя в ней только лишь своё — как мягким нежным подшёрстком выстилается по ней густая трава, как жёстким остевым волосом прикрывают траву кустарники и деревья и как лоснящимися проплешинами стригущего лишая блестят между них озерца и болотца. Волки знали момент, когда там должно было что-то происходить. И происходило. Вдруг в дальней сырой низине какая-то часть пространства принималась бурно шевелиться, будто сдвинулся с мохового болота и наехал на мокрый луг целый лес древесного сухостоя. Это кочевало, поднимая к небу рога, стадо высокорослых оленей. Приметив это движение, пара старших волков, вожак и волчица, вдруг резко вздрагивали телами, но тут же как будто успокаивались. Они лениво потягивались, зевали, равнодушно поглядывали по сторонам, смотрели на небо, на птиц и, лишь только вдоволь насладившись своим полным равнодушием, безразличием, спрыгивали с камня вниз и вели свою стаю наперерез.

Взрослая матёрая росомаха, быстрая как волк и сильная как медведь, нюхала кожаным носом воздух и тоже направлялась в сторону оленей. Этот самый свирепый хищник равнинны даже не пытался скрадывать свое продвижение, он всегда бежал слегка боком и размашисто приминал траву на одну сторону, будто скашивал косой. Горбатая мохнатая тень тяжело колыхалась над землёй и была заметна издалека.

Овцевьики, увидев росомашью пробежку, шумно фыркали и выдвигались всем стадом вперед, оттолкнув назад малышей. Быки мрачно опускали к земле огромные продолговатые головы, с которых двумя каменными потоками плавно стекали вниз и вновь загибались вверх убийственно заострившиеся рога.

Мамонты косились на росомаху мелкими бровастыми глазками. Старые самцы выставляли в её сторону свои длинные, вытянутые вперёд и сведённые острями бивни, которыми они зимой, словно вилами, поднимали слежавшуюся под снегом траву, собирали её в небольшие копёшки и оставляли их для

более слабых. Летом этими бивнями самцы сдерживали слишком проказливых малышей, лезущих купаться или спасаться от комаров в самую болотную топь. Брали их в костяной обруч. Но мамонтятам это не нравилось. Они охотнее бы нырнули под мать, чтобы в её шерстистой палатке заодно поискать и подёргать ещё нежными розовыми дёснами набухшие молоком сосцы.

Мамонты и овцевьики подходили к каменной гряде каждую весну, но только к тем валунам, которые лежали в стороне, кучно, подобно кладке яиц Большой Небесной Змеи, которая вся целиком показывалась на небе в середине зимы, в самые морозные и безлунные ночи, когда её длинное белое звездное тело простипалось от горизонта до горизонта. Мамонты и овцевьики ожесточённо тёрлись о камни лохматыми боками, сбрасывая прошлогоднюю шерсть. Гранит глянцево блестел, а содранной шерсти вокруг валялось так много, что ветер собирал её в кипы, а дождь утрамбовывал в грубый войлок.

Сегодня обошлось без дождя.

С вершины каменной гряды, сквозь плотное мельканье птиц, которые, впрочем, редко нападали на высокое двуногое существо (не устанавливая прямой связи между его появлением и пропажей яиц), даль на юг просматривалась до самого горизонта, до призрачных далёких холмов, которые оставались, возможно, ещё от предыдущего ледника. Увидеть эти холмы удавалось нечасто, а только в сильно ветреный день с прояснениями, что было в редкость летом — всегда пасмурным, дымчатым, с высокой облачной пеленой, под которой ленивыми струями разливалось удушливое тепло, исходящее, казалось, не от мутной светлоты солнца, а от самой земли, накрытой зыбким маревом испарений, сладким духом растительной гнили и тяжёлыми запахами трав.

Ветер сегодня был. И пусть ему не удавалось развеять крепкий дух аммиака, исходящий от птичьего помёта, зато он хорошо отдувал от лица комаров и неплохо освежал кожу — даже под бородой.

Человек нес грубую ивовую корзину, куда сложил собранные яйца, крупные, в сизых крапинах, синеватые.

С корзиной на вытянутой руке, отмахиваясь ею от шипящих на гнёздах птиц, он начал спускаться к каменистому пляжу, на который длинными волнами наскакивало пресноводное море. Сегодня здесь было тоже свежо и не ощущалось влажной духоты, всегда изнурявшей на равнине.

Галечный пляж тянулся плавным изгибом вдоль бухты. Слева его оторачивали заросли поющегого ивняка, справа, на другом конце бухты, начиналась узкая галечная коса, переходящая в цепочку низеньких плоских островков с небольшими наносами или глинистого песка. Ил и песок были замечательным подарком реки, вновь пробившейся чуть подальше через каменную гряду и теперь выносившей в море ёщё и много древесного плавника — вырванных с корнем деревьев. Коряги валялись повсюду на берегу, и на них каждую весну с угрожающим рёвом наскакивали самцы сивучей, негодуя, что привычные места лежбищ кем-то заняты. Но потом тюлени всё-таки соглашались потерпеть чужаков или даже принимали их под своё покровительство — с удовольствием почесывались о них, да и сами коряги будто тоже испытывали удовольствие. Они шевелились и взмахивали в воздухе корнями.

Дров на берегу было много.

У шалаша, крытого тюленьими шкурами и больше походившего на палатку, человек нагнулся и поставил корзину на землю. Пространство здесь было ровным, а площадка ёщё и дополнительно подсыпана обломками кремня и кварцевой гальки со следами неудавшихся сколов. Тут же валялись и другие камни, отсортированные по виду и сходству. Особое место занимали окатыши каменной глины, которые при удаче распадались на почти идеальные многослойные черепки-плошки. В отдельную горку были собраны зеленовато-жёлтые камни, в которых подозревался медный колчедан, и тут же, рядом, лежал небольшой железный метеорит, формой и величиной напоминающий голову тюленёнка. Тяжёлый и ржавый, метеорит был второй по значимости находкой. Первое место занимала расколотая глыба обсидиана, мерцающая на сколах мутно-фиолетовым цветом. Она была найдена наверху, на гряде, и там, куда она скатилась, разбившись, и была обнаружена стоянка.

Человек откинул полог палатки, заглянул внутрь. Следов вторжения не заметно. Белый светильник из человеческого черепа, в одну из глазниц которого был вставлен плоский прозрачный отшлифованный камень — примитивная линза, не был ни сорван, ни опрокинут; жидкий топлёный тюлений жир, покрывавший фитиль, ощутимо поплескивался на дне. Не выпит, не вылакан. Шкура спальника не пожёвана.

Сделав вид, что поправляет палатку, скрытно огляделся. Он старался не смотреть ни в сторону ивняка, ни в сторону выброшен-

ных на берег коряг — прямой направленный взгляд означает угрозу. Он притворился, что смотрит на горку камней, увенчанную корягой деревянным крестом, и даже сделал в этом направлении шаг, когда заметил, что плоский, с жирной копотью камень, установленный над кострищем и служивший небольшим противнем, сдвинут в сторону, будто кто-то яростно рылся в золе...

— Валентин Львович! — крикнул он, вставая над очагом. — Валя! Выходи! Полно прятаться. Я видел тебя. — И для пущей убедительности соврал: — Я и сейчас тебя вижу. Иди сюда, будем жарить яичницу.

Никто нигде не откликнулся.

— Ну и чёрт с тобой. Сиди там. Вурдалак хренов.

К сумеркам ветер стих, и волны стали успокаиваться. Настал тот длинный, растянутый час вечерней зари, когда природа словно извинялась за доставленные хлопоты дня и за её бледной растянутой улыбкой, смыкающей бескровные губы моря и неба, чудился абсолютный предел всякого земного существования.

3

Очнулся он в больнице, очевидно и безусловно живой, лишь под капельницей, из которой по капле стекал в его вену физраствор. В месте прокола, под пластырем, рука очень сильно чесалась. Хотелось почесать и лицо. Ощупав подборок и щёки, он понял, что его капитально побрили, сняли бороду и даже постригли густые кустистые брови. Волос на голове также не было. Всё тело зудело от чистоты. Наверное, таким обновлённым он был однажды только в роддоме.

Чувствуя себя новорождённым, он и говорил не больше новорождённого. На вопросы врачей отвечал однозначно «да — нет» и делал это так равнодушно, будто проходил проверку на полиграфе. Ему было все равно, сколько раз его поймают на лжи. Много разговаривал он только во сне, пугая соседей по палате.

— Ну, ты и болтать, мужик! — упрекали его утром.

— Что?

— Разговариваешь — что! Говоришь всякое.

Он извинялся, и это его «простите, мужики» было чуть ли не самым длинным высказыванием за всё время, что он лежал в больнице.

Навестили его только два человека: моло-денький милиционер, словно стесняющийся однозвёздочковых погон, на которые он бес-престанно надёргивал халат, и Фёдор Копыто, сосед, мужик из ближайшей жилой деревни, находившейся на другом берегу и вниз по реке.

Фёдор пришёл в больницу как будто толь-ко затем, чтобы тяжело, горестно повздыхать. Он качался на стуле и шмыгал носом, ходив-шим из стороны в сторону, как разболтанная уключина, кряхтел и моргал красными гла-зами, в каждом из которых уныло плавал чёрный зрак — словно головка вспыхнувшей, но не зажёгшейся спички. Фёдор считал себя жестоко обманутым жизнью и судьбой. А всё из-за того, что когда-то Зварнов сманил у него любимую охотничью собаку — престарелую Пальму. Нет, поначалу хозяин этому даже обрадовался, потому что животину не нужно больше кормить, а пристрелить было жалко. Вот только Пальма, отпущенная на волю, не-ожиданно забеременела и скоро принесла двух щенков. Из жадности Фёдор сразу забрал себе одного — того, что покрепче. Однако крепыш оказался не жиleeц, а дохляк Тузик вымахал в здоровенного пса.

— Вот видишь, Зварнов, — говорил Фё-дор, сидя на том же стуле, что и милиционер, и в том же гостевом медицинском халате, ко-торый был ему мал. — Вот видишь, Зварнов, жисть-то в мире какая пошла. Утонул Тузик-то. Не пришёл. Пальма, на что старуха, а реку переплыла... я ж как возле дома её увидел, так сразу про тебя и сообразил... а Тузик как в воду канул. Да, видно, туда и канул, — де-лился Фёдор страданием по собаке.

Внутренне Зварнов не был готов сопережи-вать, но он чувствовал за собой вину. Он на-зывал Тузика безголовым. В шутку, конечно. Сам окрас был у того безголовым: светлое сизое туловище и совершенно чёрная голова. В темноте голова казалась отрубленной.

Главное тут слово «оказалась». Зварнов тонко облизнул губы, спекшиеся в уголках рта и мешавшие улыбаться. Стало грустно. Всю эту зиму, вторую в его отшельничестве, ему снова казалось, что кто-нибудь умный, толко-вый, с головой, пусть даже не из его бывшего института, но обязательно сюда придёт. При-дёт, сядет, поговорит и признает его правоту. И он уже представлял, как этот кто-то идёт от нижней деревни прямо вверх по реке, по снегу и, скорее всего, на тех лыжах-досках, которые займёт по такому случаю у Фёдора Копыты. И было даже злорадно, что идти ему будет не

совсем просто, потому что одно из лыжных креплений у Фёдора было сделано действи-тельно под копыто.

Ступню Фёдору отдавило бетонной пли-той на строительстве саркофага в Чернобыле. С тех пор он ступал по земле, как сатир, и упорно отказывался от протеза, говоря, что ежели чего бог у человека отнял, то, значит, так и надо, а мы, мол, из староверов. И регу-лярно требовал от правительства взамен непо-лученного протеза всё новые и новые компен-сации, засыпая органы то слёзно-молящими, то грозно-анафемными письмами, и государ-ству не раз и не два приходилось от него откупаться деньгами, к добыче которых он с дет-ства имел большие способности. Под старость эти способности только обострились. Фёдор Копыто теперь нарочно ходил на одной пят-ке, под которую сам скроил и стачал своеоб-разную обувь-копыто с подмёткой из автомо-бильной покрышки. При ходьбе он картинно выбрасывал вперёд ногу, а когда останавли-вался перед какой-то проблемой, то любил постукивать этим копытом о землю — точно как тот волшебный олень, который высекал из земли золотые монеты...

Уходя за реку на свою первую зимовку, Зварнов купил у Фёдора полтуши барана, ме-шок картошки и ведро какой-то странной ком-коватой крупы, которую даже куры не клева-ли, да ещё передал аванс за лодку, которую Фёдор обещал к весне поправить, но её в ко-нечном счёте пришлось чинить самому.

Зима прошла в трудах, а весной на свои забытые деревенские дачи, привлечённые но-востью о поступке Зварнова, будто очнувшись от сна, со вздохами ностальгии стали вдруг возвращаться старые институтские и поход-ные друзья. Они приезжали семьями, многие с уже взрослыми детьми, которые вдруг ощу-тили большой интерес к ралли-рейдам по без-дорожью. Джипы, чёрные и блестящие, подобные крупным земляным жукам, пробили по берегу новую дорогу, и это был настоящий по-дарок старой деревенской коммуне, зародив-шейся ещё в те голодные годы, когда любой кандидат наук мог быть счастлив, если вы-растил несколько мешков картошки, навялил немного рыбы, заготовил достаточно ягод и грибов. Взрослые дети потихоньку посмеива-лись над своими быстро дичавшими отцами, не вылезавшими из сапог и штурмовок, не вы-пускавшими из рук топоров и удилищ (ружья по привычке скрывались), а отцы безуспеш-но пытались передать им хоть малую толику походной романтики, из которой состояла их собственная молодость...

Но то прекрасное лето потом плавно перетекло в осень, и вдруг всё закончилось. Друзья уехали, и снова пришла зима. По первому льду Зварнов ходил к Фёдору продавать лишнее городское барахло, вот тогда-то и сманил полюбившуюся ему Пальму, которая, правда, и сама к нему всегда ластилась, дыша в лицо теплом желтозубого рта. Нельзя сказать, чтобы с Фёдором ей жилось плохо. При всей своей мужиковатости тот никогда в жизни не произнёс ни одного грубого слова. Даже о собаке он говорил не «сука», а «псица». Звучало как птица.

Эта «псица» Зварнова и спасла, когда тот погибал внутри водонапорного бака. Переплыла разлившуюся реку и вся мокрая, дрожащая прибежала к Фёдору. Тот сразу смекнул, что с кем-то дело неладно.

— Вот, значит, гостинец тебе, Зварнов. Лежи, поправляйся, ешь, — сказал напоследок Фёдор, уже собираясь уходить, и со скорбным лицом достал из рюкзака помятую коробку зефира. — Короче, желаю тебе, чтобы ты набирался крепкого здоровья и всего, значит, наилучшего. Это я к тому, что если помрёшь, то, может, больше и не увидимся. А что насчёт Тузика... так не переживай. Невелика убыль. Пёс, он и есть... пёс с ним. Собака же.

После этих слов Фёдор встал, но снова присел на стул.

— Да, тут ещё чего. Опять та звонила. Ну вот. А я что? Ну, я поговорил. Я сказал. Да ты же меня знаешь. Я сам их не переношу. Ну что это за жизнь, когда бабы сами решают, надо им выходить замуж или на хрен то нужно, рожать детей или не рожать. Всё сами, всё одни. Это плохо. Ну а я-то чего тут могу? Всяко спрашивала: ну, ты там, в смысле, живой? Я сказал, ничего. Будто жив. Видишь, не соврал.

Сразу после ухода посетителя к больному подкатили обед, но Зварнов уже спал. Снился ему профессор Панцырев. Панцырев был в белом халате. Только голова у него была никакая не белая, не седая. Голова была чёрной, как на фотонегативе. И требовалось ещё приглядеться, чтобы угадать в старом профессоре безголового Тузика.

— Ничего, — проводил совещание Тузик. — Ничего. Ровным счётом ещё ничего не закончилось. Мы продолжим, мы обязательно продолжим нашу работу. Всё ещё впереди. Впереди ещё смерть, а это может быть интересно.

Даже в глубоком сне Зварнов умудрялся осознавать, что такие люди, как Панцырев, вообще никогда не умирают.

4

Насколько удачным сложится новый день, зависело от того, насколько чистым выйдет первый отщеп от глыбы обсидиана. Если скол получался длинным и ровным, слегка вогнутым, день удавался. Этим гаданием на будущих каменных топорах, ножах, рубилах и скрёблах он занимался теперь каждое утро, с тех пор, как начал подступать к глыбе с нового, ещё не использованного бока. Он пробовал так и эдак, но все отщепы пока получались плохими. Твёрдое вулканическое стекло, с характерным битумно-чёрным блеском на сколе и дымно-багровой на просвет кромкой, раз за разом открывало паутину скрытых внутренних трещин, и материал рассыпался, как пережжённый. Словно сам бог Гефест, выплавлявший эту порцию магмы в своём вулканическом подземелье, был в ту пору чем-то расстроен и не особо следил за процессом.

Бога Гефеста Зварнов поминал и по батюшке, и по матушке, поскольку ему самому пока не удавалось выплавить ничего. Грубая доменная печь, частью сложенная из камней, частью вырытая в берегу, разрушалась от жара за несколько дней — раствор из ила, липкой земли и птичьего помёта не скреплял камни. Внутри печи несколькими слоями древесного угля (нажжёного тоже с немалым трудом) были переложены все его стратегические запасы колчедана, нарытые здесь за много лет. Главным сырьём был медный колчедан, но там был и оловянный тоже, а может, не колчедан вовсе. В чём он казался уверенным более всего, так это в нескольких кусках магнитного железняка, которые проверял по метеориту, хотя надежды получить в свои руки железо было ещё меньше, чем добить медь или олово. Печь рассыпалась. Она протяжно вздыхала горячей утробой, растрескивалась снаружи и пыхала в открывшиеся щели струйками едкого сернистого дыма. Камни начинали вываливаться. «Нет, на этот раз не без пользы», — пообещал он себе, когда снова стало ясно, что плавка не удалась.

Для банного дня всё было готово давно. Прямо под устьем печи, где находилось поддувало, он вырыл достаточно большую и глубокую яму и выложил её стенки плоским плиточным камнем. Туда насыпалось воды, и теперь она держалась на одном уровне с морем-озером. Когда печь разрушится, надо будет лишь половчее скатить в эту яму раскалённые камни и получить горячую ванну.

В этот день он не отходил далеко от лагеря. Пёк яйца, делал запас другой еды, хло-

потал по хозяйству, а то и просто сидел у печи, сердито поглядывая на птиц, которые отчего-то принимались кричать тем громче, чем больше ему хотелось поговорить с кем-нибудь по душам.

Злее всего птицы вмешивались в беседы человека с песцом, уже старым, больным, племенным животным, промышлявшим в округе то лёгким разбоем, то мелким воровством. Разбой или воровство — зависело от того, у кого удавалось украсть обед. Чаще зверь обкрадывал того, кто вежливо обращался к нему со словами «мой учёный сосед» или «мой высокочтимый коллега». Обычная форма вежливости, хотя в таком обращении скрывалась и доля правды. Когда-то они познакомились высоко вверху, на морене, разоряя птичьи гнёзда, и «коллегу» спасло только то, что он сам запрыгнул в корзину для сбора яиц, перевернулся и отполз под ней, как под щитом, наподобие броненосца, пока не скатился в той же корзине вниз. Там и обнаружилось, что по части остроносости и ушастости песец действительно имеет сходство с одним реальным бывшим коллегой. Внутреннее сходство стало замечаться позднее по камням, на которых всё чаще появлялись следы испорченного желудка.

Реальный Валентин Львович тоже этим страдал. Он соблюдал строгую диету, не пил вина, а когда ему предлагали (а предлагали всегда), он подскакивал как ужаленный, взмахивая обеими руками:

— Ну сколько можно! Вы же знаете! Никогда! Не будите во мне спящего медведя! Игорь! Зварнов! Хоть ты им скажи! — апеллировал он к Зварнову, бывшему однокурснику и начальнику. Тот строго взглядел на своих подчинённых, но сам еле сдерживал улыбку. Можно было подумать, что именно тот перепуг, который Валентин Львович демонстрировал при отказе от вина, и являлся причиной его медвежьей болезни.

Валентин Львович был очень невезуч. В лаборатории это поняли сразу. Да и как может повезти человеку с фамилией Зайцев, согласившемуся войти в группу, где уже работали эти... Полуэктов и Полуянов? Разумеется, Зайцев мгновенно стал Полузайцевым. Именно Полузайцевым он и оставался, когда предложил считать Землю не шаром, а тором.

В тот день они сидели в институтской столовой вчетвером, хотя, тут надо быть честным, Зварнов, на правах заведующего отделом, не столько психологически поддерживал своего однокурсника, сколько оказывал покровительство их новенькой программистке по имени

Ксения. Да к ним ещё подсел сын профессора Панцырева Александр, или Панцырев 2.0. Разговор из-за этого шёл больше о погоде да о решении Перельманом теоремы Пуанкаре. Суть события весь крепкий мужской костяк лаборатории пытался объяснить Ксении уже несколько дней.

— Всё очень просто, Ксенечка! — увлекался этим и Панцырев 2.0. — Вот стакан. Сейчас он почти полный, в нём сок, но даже если вы его выпьете, ваш стакан всё равно останется гомеоморфен Земле. То есть, Ксечка, ваш стакан всегда шар. А вот чашка с кофе нет. Это баранка.

— Чашка нет? — задумалась Ксения.

— Чашка нет.

— И всё потому что с ручкой? — продолжала думать Ксения, напрягая тонкую голубую жилку на лбу.

— Всё потому что с ручкой, — усмехнулся Панцырев 2.0 и посмотрел на Зайцева. Взгляд этот, в присутствии девушки, был подловатым, но Зайцев сделал вид, будто ничего не понял.

— Да, Ксения Леонидовна, — вдруг заговорил он. — Всё дело в том, что «с ручкой». Ибо, если применить топологическое преобразование... Да, кстати, коллеги, — лишь тут он взглянул на Панцырева и согнулся в запястье рукой отёр уголок заслезившегося глаза. Он всегда это делал как-то неуловимо по-женски, будто пёк пироги и рука оставалась в муке. — Да, кстати, коллеги, я думаю, что такую форму должно иметь и всё живое на Земле. Не только человек. Даже сама планета, если мы соглашаемся считать Землю живым существом, как это сделал парламент Боливии.

Зварнов тоже был наслышан про парламент Боливии и стал переключать беседу на политику. Ему не хотелось, чтобы за столом кто-то начал углубляться в эту тему: а почему, собственно, человек имеет форму баранки? Панцырев 2.0 мог бы, например, запросто углубиться, тут же пояснив Ксении, что всё, что начинается ртом и заканчивается анусом, должно иметь именно эту форму.

Но Ксения, видимо, что-то уже поняла сама. Всего через месяц она несколько вызывающе и надменно сказала своему непосредственному начальнику, что выходит за Валентина Львовича замуж. Зварнов, понятное дело, не возражал. Он и не мог возражать. Но тут Зайцев неожиданно умер.

Ждать, когда печь развалится сама, он не стал. Тело сильно чесалось в предвкушении бани, зуд нарастал. Нетерпение усиливало и

новая одежда — штаны и куртка, ни разу ещё не надеванные, для сохранности пересыпанные золой. Он снял их с распорок, вставленных в стену шалаша, и поставил на землю, бережно прислонив друг к другу домиком. Мех дышал, как живой, но саму пересохшую кожу придётся смачивать, размягчать. С обувью же случилась беда. Два треугольных лоскута (два нежных молодых уха совсем юного мамонтёнка), из которых он думал сделать новые постолы, пришло сразу выбросить — их прогрызли в мелкое сито вёрткие белые червячки.

Печь он разрушил сам. Коротко всшипев, камни один за другим скатывались на дно приготовленной ямы, но вода ещё долго оставалась чуть тёплой, даже когда от наиболее крупных, прокалившихся валунов, на которых держался свод печки, начали отделяться и нестись вверх тонкие цепочки пузырей.

Он разделся и начал медленно погружаться, скользя спиной по наклонной каменной стенке, которая по контрасту казалась ледяной, а потом ещё долго разгребал, перемешивал воду руками и ногами, стараясь окружить своё тело струями умеренной теплоты. Наконец он смог расположиться поудобнее, найдя для сиденья не самый горячий камень, и вытянул вперёд ноги. Сперва он просто сидел, осторожно умывая лицо и расчёсывая пальцами бороду, однако ноги его неудержимо всплывали, и вскоре он откинулся назад, приняв положение плывущего на спине; он то опускался, притягивал, утапливался с головой, то касался пятой точкой камней и снова вспыпал.

Вскоре всё тело стало совсем уже зверски пощипывать, ядовито покусывать, зло колоть, он начал недовольно ворочаться. Вода была едкой. Он знал, что из-за колчедана в ней появилась серная кислота, и знал, что сильней всего эта кислота будет действовать на раскрывшиеся раны и язвы, проникать под коросты, под все роговые мозоли и в трещины на коже, но туда же (он это тоже хорошо знал!) больше всего и любят забираться клещи и другие паразиты, чтобы откладывать там свои яйца. Он знал, что нужно терпеть, что нужно дать время, чтобы тело по возможности сильнее отмокло, но, едва о том подумал, как тут же тоненько взывил и начал бешено себя расчёсывать. Он выл и рычал, чесался и скрёбся. Крутился в воде и так и эдак, и вода бурлила вокруг него.

Потом он выплыл спиной на камни и с закрытыми глазами, на ощупь, стал бритвенной остроты обсидиановым скреблом срезать волосы на затылке, над ушами, отхватывать пряди

надо лбом, укорачивать бороду. Он укорачивал её до тех пор, пока пальцы могли ухватить щетину и пока появившийся на скулах холодок не начал перекликаться с холодом в ногах — дыханьем сырой земли. Тогда он снова сполз в воду и затих, вбиная всем телом остатки тепла, исходящего от камней.

Заснул или нет, он не помнил, но отлично почувствовал ту грань, ту кромку, обрыв, с которого начинается свободное падение вниз, когда на первой секунде сна ещё можно встряхнуть головой и заставить себя проснуться...

Услышав сзади шуршание, он сначала подумал, что это мышь, но затем вверху что-то стукнуло, посыпались камешки, раздался звук поступи.

Песец Валентин Львович Полузайцев усился наверху, на тёплом уступе, оставшемся от разрушенной печи, и замер там неподвижно, притих, однако вскоре зевнул, верней, издал муничтый стон с таким придушенным хрюком, как это может сделать лишь человек, стесняющийся прилюдно зевнуть и выпускающий зевоту через нос. У покойников этот фокус получается особенно пронимающе.

— Валя, это ты? Пришёл поговорить? — не оборачиваясь, поинтересовался Зварнов, на что песец ничего не ответил, а только пошевелился, и вниз опять посыпались камешки.

Камешки сыпались и сыпались, увлекая за собой мысли. Кто знает, думал Зварнов, может, правда, Валька умер из-за стихов? Может, в детстве он был поэт, а потому и не перенёс ревности, когда на доске объявлений появилась та ядовитая эпиграмма. Хотя ничего особо смертельного в ней и не было. Она была даже не о нём. Совсем не о нём, не о Полузайцеве, а скорее, об идиоте-начальнике, который заставляет всех пахать сутками из-за какой-то ошибки в коде, когда в действительности Зварнов задерживает людей допоздна только ради того, чтобы кто-то задерживался ещё дольше всех. И кто эта «кто-то»? Лишь этот вопрос волновал автора эпиграммы, предлагавшего решить простенькую задачку типа: что будет, если отложить точку G по оси леди Икс и опустить проекцию на ось сэра Игрека? Конечно, умные люди понимали, что решения у задачи нет. И сам Валентин Львович это понимал. Но всё равно умер.

Он умер, а вроде и не совсем. Какое-то присутствие его ощущалось. Словно сам дух его витал по лаборатории в образе некой музы. Многие тогда принимались писать стихи — этим бросая то ли вызов, то ли упрёк затаившемуся автору эпиграммы. Однако ещё

не скоро на доске объявлений появились те странные стихи, будто написанные самим Полузайцевым. Даже не стихи, поскольку рифмовать автор не умел.

Когда Земля была ещё плоской,
как блин,
кто-то наверняка уже говорил,
что Земля круглая,
как колобок.
Но ему, конечно, не верили,
потому что все видели,
что Земля плоская,
как блин.
Вон, говорили, и Луна плоская,
как блин.

Когда мы с ним коротаем ночь у костра
и мой потомок мне говорит,
что Земля никакая не круглая,
как колобок,
а в реальности это бублик,
бублик, который по форме бублик,
я, конечно, ему не верю,
потому что отлично вижу,
что Земля круглая,
как колобок.
Вон и Луна, говорю, такой колобок.

Лишь когда моя голова начинает вскипать
от невозможности понять то,
чего
я никак не вижу,
а потомок уже пинает ногой в костёр
и сердито шипит: «Ну блин!» —
тогда я неуверенно соглашаюсь,
что, пусть фактов нет,
но всё же, наверное, уже пора,
возможно, пора, кому-то пора
начинать об этом всём говорить.
И Луна широко открывает рот.

Обсуждать это стихотворение Валентин Львович приходил к Зварнову почти каждую ночь. Он будил его, тормошил и заставлял слушать о том, что он, Полузайцев, находит данное стихотворение удивительноозвучным своим собственным мыслям. Он говорил, что всю жизнь мечтал сходить с сыном на рыбалку — чтобы обязательно ночь, палатка, костёр. И вот эта мечта для него гораздо важнее той новой теории о Земле, которую сам же и предсказал. Правда, теперь он хорошо понимает, что для того, чтобы вырастить сына, ему нужно было ещё при жизни жениться. В любом случае, не бегать от женщин.

Зварнов давно это замечал: чем дольше Валентин Львович пребывал на том свете, тем

больше задумывался о женщинах. Особенно увлёкся, когда окончательно превратился в песца.

— Нет, Валя, нет. Пошёл к черту. Нет, — монотонно повторял он, по-прежнему сидя в каменной ванне, не открывая глаз.

Валентин Львович издал звонкий гавкающий звук.

— Нет, — повторил Зварнов.
Валентин Львович глухо взрыкнул.
— Нет, к чёрту.
Песец лязгнул зубами.

— Хорошо, Валя.
Валентин Львович вурдалачно сглотнул.
Прежде чем заговорить, Зварнов разбулькал перед собой окошко чистой воды, ополоснул высохшее лицо, запрокинул голову и подставил одну щёку ветерку, который уже второй день тянул со стороны ледника. Было приятно думать, как этот же самый ветер в этот самый момент переваливает через каменный хребет у него за спиной и крадучись, по-пластунски вползает на размякшую, по-банному тёплую равнину. Другая его щека была повёрнута к югу, и на ней слабо-слабо ощущалось тепло от солнца, чьё мутное пятно впервые за много дней обозначило своё место на небе; свет едва просачивался сквозь веки. Хотелось и не хотелось проснуться.

— Слушай, Валя, — начал было Зварнов, но сам себе кашлянул и замолк: приглашение слушать отдавало лёгким безумием. — Знаешь, Валя, — поправился он, — ужас в том, что я ведь тебе ничего нового не скажу. Да что и скажу...

Песец Валентин Львович словно перестал дышать.

— Да, — сказал Зварнов. — Ты ведь помнишь, что через половину луны у них снова настанут Великие дни? В эти дни они будут здесь, недалеко, в двух неделях пути, на своих летних становьях. Ближе к нам будут вепсы, вот к ним и поедем. Я называю их вепсами, а ты должен помнить почему. Потому что они по сравнению с нами вроде как древняя весь. Такие же мелкие и белобрюхие. Но даже если они «весь» в смысле «городу и веси», то это тоже будет справедливо, поскольку мы-то с тобой всё же люди городские...

Выходим мы завтра. Надо выйти завтра, самое позднее послезавтра, чтобы к началу солнцестояния быть уже на месте. Думаю, весь товар мы опять выкладывать не будем, поторгуемся всякой мелочью, типа один нож за десять кож. А у меня всё готово: и топоры, и наконечники для копий и стрел. Есть с полдесятка совершенно приличных наконечников

для острог, а уж это ценнейшая для них вещь, потому что они живут больше рыбой, чем мясом. Я и в прошлый раз тебе говорил, что на равнину они никогда не выходят, а морского зверя боятся. Поэтому с мужиками мы быстро договоримся...

Песец наверху нетерпеливо пошевелился.

— Женщинам мы предложим всякую мелочёвку — скрёбла да шильца, да поднасыплем разных камушков самоцветных, этой гальки полно уже накопилось. Дети очень любят держать такие камешки за щекой — как леденцы — чтоб блестели. Хотя подарки — это не главное. Подарки, они чтобы наладить контакт. А главное для них кровь. Наша кровь. Новая. В праздник Великих дней ради новой крови они будут принимать хоть кого, всех подряд, будь ты вепс, будь не вепс, хоть хрен с печки... Потому что для начала всё равно все мужчины должны проходить обряд очищения. Это значит раздеться и постоять над дымом. Обряд у них такой. Дезинфекция. Будут жечь можжевельник с какой-то ядовитой травой. Всё это довольно горячо и вонюче, но паразитов поубивает железнно. Заодно смотрят. Старшая Мокша будет этим всем заниматься, но ты старайся на неё не смотреть, думай о чём-нибудь другом, отвлечённом. Старшая Мокша у них всегда страшная старуха, вся чёрная и беззубая, с обвисшими сосцами, сама баба-смерть, но через бабу-смерть тоже надо будет пройти...

В воздухе повис тихий скулящий звук.

— Да, Валя, да. Только так. Сначала очищение дымом. Или вот, почему по сей день на Ивана Купалу молодёжь любит прыгать через костёр? Потому. Очищается. Это даже больше, чем память. Это память на генетическом уровне. Ритуал. Как и бегать голышом средь берёз. Впрочем, побежишь, когда комары всё тело облепят. Секс, конечно, за этим всем стоит, только у вепсов мотивация другая. Секс-то секс, но не ради лёгкости бытия. Чем скорее племя обновляет свою кровь, тем сильнее оно становится, лучше выживает. Нам тоже с тобой надо будет выжить. Потому что после обряда очищения отдыхать будет некогда: ночь короткая, женщин — много. А уж если не устроишь какую из них, значит, плох гость. А плохому гостю жить на этом свете нельзя. Если ты у них плохой гость, то и у других окажешься плохой гость. А с другими им ещё жить. Так что они всем заранее добрую услугу окажут, если прекратят твои хожденья в люди...

Но это если, конечно, на тебя их настой не подействует. Тебе будут предлагать пить, а ты

пей. Это их афродизиак. Не гадай, из чего сделан, и не думай, чем пахнет. В основе, кажется, дягиль, а уж там чего только не намешают. Хотя бывало и сладко. Ты просто пей. Просто глотай и всё. И снова думай о чём-нибудь отвлечённом. Очень постараитесь, чтоб не стошило. Если стошнит, значит, ты данную женщину отверг, а это гораздо хуже, чем если ты в какой-то момент просто устанешь и уснёшь. Если уснёшь, конечно, тоже нехорошо. Могут и не пожелать, чтоб проснулся. А вот если тебя вырвало афродизиаком — тут беда настоящая. Потому что кровь у тебя не та. Не прошла она тест на совместимость с человеческой кровью. Короче, отравленная у тебя кровь, вурдалачная. И всех женщин ты до этого отравил. Тогда тебе конец, разумеется.

Знаешь, только не скули, Валя. Их ведь тоже нужно понять, этих женщин. Потому что только лишь в Великие дни случается так, что любая может стать мокшей. Если только удастся ей в эти дни забеременеть, а весной, в первый день весеннего равноденствия, на рассвете, родить. Вот тогда она станет мокшой, и для всех это будет большой праздник. «Праздник мокш» — так у них называется. Я слышал про одну, которая семь лет подряд мокшей становилась. Фантастика, но, знаешь, я верю. Природа забавнее людей. Хотя вот так богинями и делаются. Конечно, тот праздник мокш не про нас. Нас они и в Великие дни долго не потерпят. Потому что у них потом будет обряд посвящения мальчиков в мужчин, а девочек — в женщин, вот поэтому её надо ещё до инициации украсть. Главное, не дать опомниться — поймать, заткнуть рот, связать и на плечо, в лес. А там, по берегу, к лодке. Не обещаю, что будет легко, но одну украдь мы должны. И если сразу уйдём от погони или хотя бы отобъёмся без смертоубийства, тогда, считай, жизнь прожита не зря. Потом нам, конечно, с ними лучше не встречаться, но это потом. Но даже потом ничего страшного. Надо просто знать тактику. Против нас с тобой они мелковаты, совсем как подростки, правда, тело у них будто свито из собачьих жил. Псы, одним словом. Вепсы. Пока одного придушишь, на тебя десять прыгнут...

Ладно, Валль, не скули. В прошлые Великие дни, как ты помнишь, я легко одну утащил. Помнишь, да? Красивая была, а больна. Может, поэтому так легко и далась. И ушла ведь тоже легко. Это ты всё хотел могилу разрыть, камни раскидать, а я тебе говорил, что нельзя. Нельзя. Не ворчи. Я знаю, что не поймёшь. Я даже крест на могиле поставил. Не христианский, конечно. Это их оберег,

их женский солнечный год. Вон та палочка сбоку, она как бы отнимает четверть круга. Это их год с вырезанной четвертью. С виду как рыба с открытым ртом. Знак рыбы, знак женщины. Они и на деревьях этот знак вырезают, когда молятся. Молятся, чтобы духи помогли им сделаться мокшей. Потому что три четверти — это девять месяцев беременной женщины. От летнего солнцестояния и до весеннего равноденствия. Поэтому, кстати, и в гороскопе этот месяц перед весенним равноденствием — месяц рыб. Так что они рыбы, а мы — рыбаки. И нам пора снова на рыбалку. Зато если в этом году всё удачно получится, будет у нас с тобой своя собственная мокша, и заведём мы, Валя, с тобой свой собственный народ, и хрен мы когда ещё снова умрём!..

Он вздрогнул и пошевелился. В водяной яме уже было холодно, как в могиле. Быстро накатывала дрожь. Он осторожно повернулся голову сначала вправо, а потом влево. Вокруг было пусто. Сзади тоже. Небольшой уступ на месте разрушенной печи, где и должен был сидеть Валентин Львович, оставался пуст. Пуст, гол и никем не занят. На нём одиноко лежало длинное серое перо, потерянное какой-то из птиц. Окрасом оно походило на смычок.

В тот день он переделал ещё много важных и срочных дел, и лишь когда наконец наступил уже поздний вечер, и стали затихать птицы, и заря своей бледной улыбкой вновь сомкнула свои тонкие губы неба и моря, лишь тогда он услышал тот странный звук, преследовавший его, казалось, уже целую вечность. Далёким ощущался тот звук и неестественно тонким. И как будто висел в воздухе ещё с утра, только из-за гомона птиц был не слышен, не выражен.

Поднявшись в сумерках на хребет, Зварнов увидел равнину уже полностью погрузившейся в глубокую мглу. Звук шёл оттуда, из мглы, одинаково с многих направлений, ниоткуда громче, ниоткуда тише. Словно в голову залетел комар и не знает, как вылететь.

Тыльной стороной ладони он стёр со лба первую болезненную испарину, ещё лёгкую, слабо ощущимую, появляющуюся, как влага из вечернего воздуха. Болезнь никогда не приходила одна. Вдали на равнине мерцал огонёк.

5

Выписавшись из больницы, он почувствовал себя настолько отвыкшим от волос на лице и на голове, что зашёл в парикма-

херскую. Сидя перед зеркалом в шуршащей накидке, на которой был нарисован странный белозубый брюнет, рекламирующий словно не высокое искусство брадобрейства, а отбеливающую пасту, Зварнов изучал своё непривычно голое, безбородое лицо, тонкие, недовывернутые губы, слишком распластавшийся нос и острые скулы, торчащие под глазами, как шишки у бородавочника. В подстриженном себе он легко узнавал одного угрюмого подростка со старой чёрно-белой школьной фотографии. Впрочем, в парикмахерской было по-домашнему чисто, тепло, уютно, играл что хотел «Кекс-FM», и молодая толстушка-парикмахерша что-то весело щебетала, прикасаясь то к одному, то к другому плечу Зварнова мягким горячим животом.

Местная кошка, тощая и беременная одновременно, похожая на икряную воблу, вспрыгнула на тумбочку справа, оттуда прошагала на полочку под зеркалом, покрутилась на ней, что-то столкнула в раковину и, наконец, улеглась в тепле боковых ламп на каливания, вытянувшись во всю длину, и, лёжа, гнусно сощурилась на него узкими вертикальными разрезами своих зелёных крокодильих немигающих глаз. Из-за этих разрезов Зварнову всё время хотелось склонить голову набок, но парикмахерша мягко возвращала ее на место.

Эта мягкость напомнила ему что-то из детства — руки учительницы, которые поворачивали его голову к доске. Тогда всякий раз он испуганно вздрагивал и поскорее о чём-нибудь спрашивал, чтобы не показать, что спит. И всегда невпопад: «Венера Ильхамовна, а почему у кошки зрачки в глазах вертикальные, а у баранов горизонтальные?» Класс смеялся: «Ну ты и баран задавать такие вопросы!» Всем же ясно, зрачки у барана горизонтальные потому, что так лучше смотреть, что творится сзади и по бокам. Жаль, что сейчас нельзя спросить у Венеры Ильхамовны: «Почему, интересно, ещё много лет люди долго верили, что Земля плоская, когда им давно уже объяснили, что она круглая? И почему лишь в конце двадцатого века Ватикан согласился признать, что Коперник был прав и Земля действительно вращается вокруг Солнца, а не наоборот?» Наверное, потому, ответила бы сейчас Венера Ильхамовна с того света, что люди тоже бараны. Которым всегда важней лишь то, что у них под носом. Баранам вертикаль мира не важна. Еда у них прямо тут, под носом. Опусти голову и жуй.

Кошка заурчала и потянулась, до отказа вытянув лапы, на концах которых мгновенно

распустились и сразу отцвели когтистые розовые цветы.

А вот кошкам вертикальное измерение важно позарез. Кошкам важно уметь рассчитать прыжок на мышь сверху. И крокодилам тоже это всё важно, чтобы атаковать снизу, из воды. Какую-нибудь антилопу или зебру, подошедшую к водопою. Вот почему у крокодилов и кошек одинаковые глаза.

Он опять смотрел на кошку. Неприятная животина. Морда острая, как бельевая прищепка, губа заячья, открывающая белый зуб, а глаза... Точно — крокодилица.

Такая вот крокодилица и могла утащить Тузика на самое дно. Старой Пальме почему-то удалось переплыть реку, а молодой сильный пёс утонул непонятно как. Будто что-то его проглотило.

Он вспомнил, как ездил в Киев на свой последний симпозиум и как в качестве бонуса к культурной программе их повезли на экскурсию в чернобыльскую зону. По дороге остановились у магазина, и всем было предложено купить по батону белого хлеба. Потом они шли по железнодорожному мосту через Припять, откуда открывался замечательный вид на Чернобыльскую АЭС. И вдруг экскурсовод попросила всех остановиться и начать бросать в воду хлеб.

Первые всплывшие к поверхности сазаны удивляли размерами, а потом начали собираться и сомы. В косых лучах солнца под водой сначала появлялись их широченные пасти, которые открывались и проглатывали сразу по четверти батона, и толстые гладкие усы шевелились при этом, как впившиеся в губы змеи. Потом начали всплывать совсем уже туши, странно неподвижные, как бревнатопляки. Сомов становилось всё больше и больше, и вот они уже кружились под мостом, как акулы, и были размерами, как акулы, и внушили страх, как акулы.

Он помнил, что всё увиденное ещё как будто немного сдвинуло какую-то заслонку в сознании, и, кажется, именно с этого дня стал бояться, что действительно сходит с ума. Сходит с того здравого, не расщеплённого шизофренией ума, каким он по-прежнему прекрасно осознавал, что все эти рыбы — самые обыкновенные сомы и что радиация здесь совершенно ни при чём, а нужно просто сорок лет не ловить рыбу.

К тому времени он перестал искать даже подступы к теореме, по которой любой геоид в замкнутом конечном пространстве топологически должен описываться как тор. Не доказывал, что для любого типа конечной и дискрет-

ной вселенной любая земля, любая обитаемая планета должна иметь форму бублика. Перестал рассыпать свои статьи по журналам, и на доске объявлений в его родной лаборатории, которой он больше не заведовал, уже не появлялись издевательские анонсы:

В майском номере журнала «Наука и бред»
НЕ ЧИТАЙТЕ
новую бубликацию горе-кандидата
математических наук
Игоря Зварнова
на тему бубличности Земли!

Он замкнулся в себе и всё чаще в сердце своём подбирал слова оправдания для людей, желавших оставить Землю шарообразной. Фактически он предлагал человечеству готовые тезисы для самооправдания. «Ну и что, — рассуждал он за человечество, — и что из того, что когда-то Земля была для всех плоской, а потом её объявили круглой? Что это дало простому обывателю? Практически ничего. Разве что появились картошка, помидоры, табак...»

— Ой, а мы курили с подружками в туалете! За школой на улице нас могли заметить, так мы в туалете! — воскликнула вдруг парикмахерша. — Правда, теперь, когда курят, я чувствую запах хлорки.

«...текила, кокайн...»

— Ой, а я пила текилу! Такая тягучая! Только у меня ямки за большим пальцем нет, и я слизывала соль с ногтя. Ну-ка, смотрите, как я вас постригла? Нравится?

«...спутниковое телевидение...»

Зварнову стало тепло, когда парикмахерша наклонилась и положила свои передние булки сзади ему на шею.

6

Идущий с равнины звук и мерцающий там же огонёк меняли все его планы, и больше он никуда не спешил. Он просто прощался с морем, и обычно такое прощание затягивалось на несколько дней.

В эти дни мир, казалось, притихал. И птицы галдели не так оглушающе, и ветер дул не так сильно, и не было этой вечно шлёпающей о берег волны, которая сейчас бы, кстати, не помешала, поскольку шаги по гальке звучали предательски громко. Пронзительно скрипуче. Но требовалось идти. Требовалось решительно подойти к тюленям и быстро, не глядя на щенячьи морды, не глядя в круглые, будто наполненные чёрной жидкостью глаза, треснуть одного дубинкой по голове.

Убитого тюленя он подтащил к своему берегу вброд и в воде же начал разделывать. Потом наготовил в костре побольше углей и стал выплавлять жир. Процедура была не самая аппетитная, но неизбежная, поскольку только очищенным и процеженным жиром можно было заправить светильник.

Песец Валентин Львович Полузайцев появился незамедлительно — как и всегда, когда начинало пахнуть едой. Прячась за камнями, он знакомо помаячил то в одном, то в другом месте и всякий раз будто с обидой убеждался, что на него не обращают внимания. Принюхиваясь, он высоко поднимал кверху нос, из-за чего отваливалась нижняя челюсть, с которой уже капала слюна. Потом песец возник совсем рядом, отбежал, возник снова и вот уж привычно сидел на своём любимом камне в позе йога, развалив на стороны немощные задние лапы. Живот его больше приличествовал беременной суке, взгляд же был неотрывно прикован к туще тюленя, что покачивалась в нескольких метрах от берега. Несколько чаек уже пристроились к тюленю, однако пока не вдохновились на серёзную трапезу — клюнут и сразу улетали. Будут ждать прибоя, когда волны выкинут тушу на берег, покатают, помнут, исколотят о камни и растреплют жёсткое мясо на мягкие волокна. Песцу так долго ждать не придётся, для него есть и другое угощение: сморщеные сальные шкварки.

Переливая в одну из походных баклажек (олений мочевой пузырь) жёлтый жир, Зварнов чувствовал, как от вони пощипывает в глазах. Грустно было осознавать, что песец Валентин Львович Полузайцев вряд ли переживёт зиму. Видно, умрёт здесь во второй раз.

На похороны своего объявленного жениха Ксения так и не пришла, она лишь попросила Зварнова положить от её имени на могилу две-надцать гвоздик да передать матери Валентина Львовича конвертик с деньгами, поскольку не выходила на работу в тот день, когда скидывались на венок и поминки.

Скоропостижная смерть коллеги вызвала немало пересудов, но разговоры про его больные почки убеждали не всех. Кто-то на что-то намекал, кто-то догадывался о чём-то. Зварнов пресекал слухи как мог. Он выступал и на гражданской панихиде, и потом, когда приехали с кладбища и сели за стол, он тоже взял слово. То, что ему хотелось сказать, предназначалось, по сути, лишь Анне Викторовне, Валиной матери; все другие были тут лишними, мешали говорить. Правда, Зварнов и сам крепко выпил, а поэтому его поминальное сло-

во больше походило на тост, и этот тост был несколько многословен.

Единственное, за что он не мог себя впоследствии упрекнуть, так это за то, что хотел не только почувствовать горю, но и зародить надежду. И жаль, что не сумел отыскать простых и убедительных слов. С другой стороны, как иначе он мог объяснить матери, что её сын находится в прошлом, но при этом не сказать, что он умер? И мог ли он в двух словах вообще кому-либо объяснить, что все они тоже в прошлом? Что все они постоянно, всегда находятся в прошлом, и мёртвые, и живые, а потому нет вовсе никакой существенной разницы, жив ли кто-нибудь из них или мёртв? Мог ли он затем отказаться от усугубления той же мысли, что и само человечество существует исключительно в прошлом? Там, только там, наша родина, наш родной вечный дом, там наша прописка, наша постоянная регистрация...

Конечно, это было не совсем милосердно — выкладывать весь навал этих мыслей в присутствии старой женщины, только что похоронившей сына, только как же иначе он мог донести до неё, что наше настоящее, всё ощущаемое нами настоящее есть лишь голая виртуальность, пригодная только для того, чтобы мы могли себя худо-бедно осознавать? Что в действительности любое настоящее — лишь оперативная память компьютера, где, да, что-то происходит, но никогда ничего не сохраняется. Но ещё труднее было объяснить матери ту странную реальность, которая так издевательски прячется в слове «память». Ибо всё наше настоящее только и существует в «уже-памяти». Как он мог это объяснить?

Трудно было втолковать всё это на поминках. Не сразу и дойдёт. Вот почему, когда он наконец сел, налил себе водки и выпил, он снова встал.

Как-то нужно было сказать матери, что её сын жив. Сказать, что он жив и что будет жить дальше, сразу и везде, во всех временных пластиах прошлого, ибо таково свойство времени. И этот факт — лишь одно из следствий того, что Земля имеет форму баранки. Он мог бы даже сказать тогда по-другому. Он бы мог даже вывести Анну Викторовну из дома, посадить в машину, привезти к морю, выйти с ней на пляж и показать на песке её же собственные следы. Он водил бы её по пляжу взад и вперёд, и кругами, кругами тоже, а потом привёл бы назад, указал бы на все эти следы и спросил, куда они ведут?

«Вперёд», ответила бы Анна Викторовна, и он бы категорически её поддержал. Он даже бы попросил Анну Викторовну попятиться на-

зад (он не дал бы ей упасть), а затем снова бы показал на следы и спросил, куда они ведут теперь? «Вперёд», снова ответила бы Анна Викторовна. «А сами вы куда шли?», спросил бы тогда он. «Назад», ответила бы Анна Викторовна. «Правильно», сказал бы он, сделал паузу и заметил, что это не время всегда идёт вперёд, а лишь следы времени показывают на движение вперёд. Ибо таково одно из основных свойств того удивительного тороидального мира, который предсказал её сын. Того мира, в котором реально Земля не круглая, а имеет форму баранки. Того мира, об истинной форме которого мы всё ещё не догадываемся, как когда-то не догадывались о том, что Земля в реальности круглая...

С морем, пляжем, конечно, могло и не получиться. Но уж если бы Анна Викторовна согласилась выйти из дома, то тогда бы он повёз её и на Байконур, чтобы дать ей возможность отлететь чуть подальше от Земли, откуда планета хорошо видна целиком. У него был ответ и на то, почему Анна Викторовна в упор не видит якобы имеющуюся в Земле дырку. Жаль, такое путешествие было бы не по здоровью старушке — он и так уже сильно её измучил. Поэтому ему снова пришлось извиниться перед ней, извиниться, как минимум, за то, что не сможет прямо сейчас вернуть её сына, и снова сесть на своё место, к своей тарелке и рюмке.

Поминки уже закончились, все ушли, а он всё ещё сидел. Сначала сидел, а потом уже лежал на диване, продолжая кому-то рассказывать, что глупо пытаться кого-то возвращать в настоящее, которое и само существует лишь в виде памяти. Но вот если перезагрузить память...

Весь день, вытапливая тюлений жир, Зварнов то и дело поглядывал на песца. Выглядела животина плохо. Впрочем, и раньше у Валентина Львовича бывали невесёлые времена. Однажды его даже пришлось вылавливать из воды, вытаскивать за шкирку, как мокрый половик. Песец тогда нечаянно свалился в реку вместе с рухнувшей кромкой берега. В лодке он всё чихал и утирался. Тогда Зварнов в первый раз по-настоящему поразился: ну насколько же это существо повторяет жест Вальки Зайцева! Песец точно так же, согнутой лапой, чисто запястьем, тёр свою мордочку и глаза.

Возможно, именно с той поры Зварнов перестал их различать. Более того, всюду искал и находил признаки реального присутствия Вальки Зайцева. Кто-то однажды ведь

подобрал ту кварцевую гальку, тот плоский кристалл совершенно прозрачного камня, и пытался его отшлифовать! Кто-то ведь явно задумывал сделать увеличительную линзу, зажигательное стекло, чтобы, возможно, добывать с его помощью огонь!

Возможно, то был и Валька. Возможно, и он. И жаль, если он. Тогда он дважды разочаровался. Во-первых, солнечные дни здесь бывают только зимой, а во-вторых, если что-то и можно будет зажечь через увеличительное стекло — только не через такую линзу. Отшлифовав её до конца, Зварнов увидел, что фокусов у неё два. Они сходились и расходились, когда кристалл поворачивался на сто восемьдесят градусов. И, увы, когда фокусы совмещались, сила светового потока уменьшалась ровно наполовину. Потому что это был кристалл исландского шпата, и он был поляризованным.

Сначала Зварнов расстроился, потом стал искать применение. И нашёл. Достаточно было взять человеческий череп, перевернуть, налить на дно тюленьего жира, наладить фитиль и вставить в одну из глазниц эту линзу. После нескольких дополнительных ухищрений получился вполне достойный фонарь, с хорошим потоком света, закрытый, незадуваемый, типа «летучая мышь», с которым можно было выходить ночью и даже передвигаться зимой.

Но всё же главную ценность кристалл представлял не зимой, а весной и осенью, в период особо пасмурной погоды, когда приходилось заново пересекать всю равнину. Путь был извилистый, против течения рек, волоками между озёрами и болот, и самое главное тут было не потерять направление. И вот тут обнаружилось, что исландский шпат может заменить компас. Достаточно медленно поворачивать линзу, приставив её к глазу. Там, где на небе было тёмное пятно, там, за облаками, находилось и Солнце.

Ночью Зварнов спал плохо. Сны навязчивым роем, как мухи, носились вокруг головы. Сны были зримы, ощущимы и неизбывны. Когда он открывал глаза, вокруг всё оставалось настолько темно, что он не ощущал разницы, прикрыты ли глаза веками или уже нет. Из этого он с неумолимой логикой заключал, что всё ещё спит, потому что в летние ночи так темно не бывает. Значит, снова снится та чёрная обугленная равнина, уничтоженная огнём, тем шалым весенним палом, виной которому был он сам и сам едва не стал жертвой.

Огненный фронт настиг его на краю небольшого болота с лункой-озерцом в середине.

Резко всё потемнело от дыма, потом окружило морем красного, до небес, света, и накатил жар. Когда он вылез из горячей грязи, полуварившийся, полузадохнувшийся, полуутонувший, с хлопьями сажи в лёгких (дышил через сырой мох), он увидел вокруг себя чудовищный мор и решил, что личная смерть уже состоялась. И далее умирать на этой чёрной, выгоревшей до последней былинки равнине никакого труда не стоило. Да больше он и не умирал. Но много раз себе потом говорил, что это только начало. Ещё не раз и не два траха снова будет гореть. Настанет день, когда и другие люди выйдут на равнину и пустят пал продуманно и расчётливо, чтобы, например, загнать стадо мамонтов и овцебыков вон в то редколесье. Там они выстроят целую систему загонов и ям-ловушек, где на дне каждой ямы будут поджидать жертву заострённые колья. И животных там будет гибнуть больше, чем люди сумеют съесть. Это так же неизбежно, как новое прошлое сменяет старое прошлое.

Но всё-таки вепсы ещё не скоро выйдут на равнину — там надо уметь расходиться по одному, а вепсы верят, что, оставаясь один, человек умирает так же запросто, как и муравей, отнесённый далеко от своего муравейника.

Зварнов знал только одного из них, выживавшего в одиночестве. Это был толстый и грубый воин, хороший вожак, но, увы, не слишком мудрый вождь. Свергнутый молодым и сильным соперником, он ушел из племени сам.

Зварнов столкнулся с ним на равнине и назвал про себя Веспасианом. Старик был величественен, а главное, захотел умереть стоя, когда они, словно дети, не сумели поделить такое огромное пространство.

Веспасиан проиграл, но не упал тут же, а нарочно проделал путь к одинокому сучковатому засохшему дереву, чтобы обхватить его и умереть стоя. Он так бы и умер, но сук, на котором он уже висел, обломился.

На следующий день Зварнов всё-таки сходил проведать его. Веспасиан лежал, почти полностью утонув в высоком зелёном мху. На голове спеклась вчерашняя открытая рана, один глаз уже вытек и был кем-то выеден. Ничто не говорило, что человек жив, лишь тонкие высохшие губы шевелились, то обнажая несколько жёлтых зубов, то каменея в странной усмешке. Когда Зварнов вливал ему в горло воду, она страшно булькала, клокотала, проникая внутрь тела, и оно гальванически содрогалось. Смерть долго стояла над стариком, но Веспасиан отлежался и понемногу окреп.

Веспасиан поселился в сухом песчаном овраге, в старой лисьей норе, которую заметно расширил. С виду нора походила на устье русской печи, и все разговоры со стариком тоже стали сродни общению с печным духом, знающим нечто важное, но очень злым. Веспасиан был готов убить всякого, кто к нему подходил. И убивал бы, будь в его руках больше силы, — а так хватало на то лишь, чтобы поднести к рту кусок мяса и алчно его обсосать.

Под конец его дней из норы несло такой отвратительной вонью, что нельзя было находиться поблизости, а не то что нагибаться и заглядывать внутрь. Куски размягчённого, долго томившегося мяса Зварнов протягивал на рогулине и этой же рогулиной тыкал, проверяя, жив ли старый хрыч, пока однажды ещё на подходе к норе не увидел, что лисы уже достают старика по частям. Отбить удалось только голову. В ней сохранялось всё знание старика.

Если перевести это знание на понятный язык, то Веспасиан, по большому счету, обладал только лишь одной, но весьма длинной и изощрённой философской мыслью. В оригинале, правда, всё это больше походило на рык и хрюп, но перевести следовало так: «Спроси березу, в чём состоит цель и смысл её жизни, и не считай себя ничем лучше берёзы. Также не спрашивай, что она сделала в своей жизни. Она сделала не меньше тебя».

Несколько звуков у Веспасиана обозначали воспоминания, память. Память о переломанных костях, об увечьях и ранах, нанесённых ему зверьми и людьми; память об отчаянных днях, когда он практически в одиночку защищал и кормил своё нарождающееся племя. Но также это была память о внешнем мире, о том странном мире, где Вселенная (которую он по смыслу уяснял как «Вселённую», с буквой «ё») почему-то хорошо понимала язык простой человеческой благодарности. Вселенную он нарисовал на куске бересты и объяснил её устройство. Так на карте открылась каменная гряда, а за ней море. Жирным солярным крестом на бересте было отмечено место, где на равнине ночами бывает виден огонь.

Утро настало хмурое и сырое. Низкие тучи оленым стадом бежали со стороны моря. Ровный гул ветра и мелкая дробь дождя гнали обратно в палатку. Но хриплый, затравленный визг песца заставил снова вылезти.

Валентин Львович, поджав облезлый хвост, крутился на каменном пятаке. Он тонко визжал и сипло лаял одновременно,

скалился и лязгал зубами, словно пытаясь кого-то схватить. Шерсть клоками спадала с костлявых боков, толстый вислый живот мешком мотался на выгнутом хребте. Лишь когда изнемог окончательно, он перестал отбиваться от невидимого врага, но, издыхая, все ещё пытался куснуть воздух перед собою. Вскоре он лежал на спине, точно птица, и задние лапы тоже были задраны вверх, как у птицы. Эти лапы потом высовывались даже из кучи камней. Пришлось притащить плиту расколотого песчаника и положить сверху, чтобы их придавить.

Потратив на Валентина Львовича первую половину дня, Зварнов заторопился. Теперь он двигался лишь по одному и тому же маршруту: от галечной косы, где собирал дрова (подчас вытаскивая их прямо из-под недовольных тюленей), до самой вершины каменной гряды, где укладывал эти дрова в три отдельные кучи, каждую аккуратным шалашником, на расстоянии примерно сорока шагов друг от друга. Промежутки не получались ровными из-за гнёзд, через которые нужно было перешагивать, а птицы обклёвывали ему ноги и сбивали со счёта.

К вечеру погода улучшилась. Ветер ещё не стих, но олени по небу уже пробежали. Дождь сеял мелким нудным охвостью, становилось прохладно. Он достал из палатки тяжёлый череп Веспасиана и внимательно его осмотрел. Изнутри костяной фонарь уже хорошо закоптился, и линза в глазнице тоже стала немного коричневой. Он вынул её, промыл и ещё некоторое время шлифовал о сваленную оленью шерсть. Потом вставил линзу на место, заодно укрепив и подмазав рассохшуюся кожаную заплатку на второй, полностью запечатанной глазнице.

В маленькой заводи возле песчаной косы, куда чаще заносило пустотелые раки панцири, кости морских животных и жилистые придонные водоросли, он нашёл несколько больших крышек от двухстворчатых раковин и одну из них округлил, чтобы установить в черепе в качестве нового отражателя. Это было глупо, может быть излишне, но так было надо. Туго скрученный волокнистый фитиль из травы, чем-то напоминающей коноплю, у него имелся в запасе. Под конец он заправил фонарь чистым свежевытопленным жиром, зажёг фитиль и долго, сам не зная зачем, — наверное, чтобы руки не отвыкли от тонкой работы, — с помощью мягких жилок и косточек-распорок проводил юстировку объектива и отражателя.

Уже в темноте, светя себе под ноги, он поднялся по камням на вершину и дождался самого тёмного часа, когда огонёк вдали на равнине стал особенно ярким.

Ладонь его прикрывала линзу полностью. Он опускал её и вновь поднимал, отсчитывая сначала по одной, потом по две, три, четыре и пять секунд. Потом снова. Потом в обратном порядке. Глаза его уже слезились от напряжения, когда ему показалось, что огонёк на равнине тоже стал мерцать ритмично. Тогда он запалил от пламени фитиля заранее приготовленную растопку и пошёл зажигать костры.

7

Поезд опоздал из-за работ на путях. На станции стоял тоже долго, но вечер был тёплый, пассажиры выходили из вагонов, прогуливались, как в старые добрые чеховско-бунинские времена где-нибудь на морском курорте или на водах. Синие спортивные костюмы мужчин и домашние халаты женщин ничуть не противоречили атмосфере променада.

Открыв двери в своё купе и увидев, что все ушли, Зварнов не смог заставить себя зайти — настолько велико было ощущение чужого устоявшегося быта с сильным запахом спальни и видом незаконченного ужина на столе. Он потоптался и решил подождать в коридоре.

— Здравствуйте! Вы к нам?

Высокая девушка, белолицая, сильногрудая, с большим выпирающим животом, в халате длинном, байковом, красном, подождала, когда он полностью выйдет в коридор, и, поблагодарив, осторожно протиснулась в дверь. Оправив смятое одеяло, она села на нижнюю полку справа и крепкими, почти мужскими руками поправила лёгкий на колени живот. Свободная полка была верхней слева, и, пока Зварнов раскатывал там матрац и расстипал простыню, он всё время чувствовал присутствие этой девушки сзади, испытывая некоторую неловкость, как в театре, когда, забывшись, начинаешь пробираться вдоль ряда на своё место, повернувшись задом к сидящим.

— Вы докуда? — спросила девушка, когда он закончил с постелью. — Поедете до конца?

— До конца? — удивился он.

Остальные соседи появились уже после того, как поезд тронулся и разгонисто покатил. Спутником беременной почему-то ожидали оказался парень мелкий, невидный и как будто уже старый. Рассмотрев парня, Зварнов мельком взглянул на девушку и получил пу-

стой взгляд в ответ. Четвёртым пассажиром был человек с золотым орденом Великой Отечественной войны 1-й степени на лацкане парадного пиджака, надетого поверх спортивного костюма. По идеи, ветерану должно было быть неплохо за восемьдесят, но держался он бодро, даже избыточно бодро. Когда он говорил или демонстрировал белоснежную челюсть, кожа на его шее колыхалась двумя индюшачьими лоскутами. Зварнову старик сразу не понравился. Вероятно, из-за известного выражения, что хорошие ветераны обычно получаются из неважных солдат. Ночью оказалось, что ветеран ещё и невыносимо храпит — как-то по-лошадиному, добавляя к каждому всхрапу бодрое шлёпанье губами. Из-за этого колёса под вагоном тоже начинали стучать с бодрым кавалерийским скоком. Это усиливало тряску, и валяться на верхней полке без сна становилось ещё муторнее.

Беременная внизу напротив временами ворчалась осторожно и медленно, помогая себе руками, одной дотягиваясь до верхней полки, а другой опираясь на столик. Несколько раз она включала ночник, и Зварнову приходилось зажмуриваться. Заснул он под утро.

Утром все вместе пили чай, настоящий также и на лучах солнца, которое совершило одуванчиково, как пух, набивалось в окно. Оно играло в одной команде с настоящими одуванчиками, рассыпанными вдоль всей полосы отчуждения по обе стороны от железнодорожной насыпи.

Старик-ветеран с утра был снова речист и опять широко улыбался своей белоснежной улыбкой, распирающей иссохшие щеки. Орден Отечественной войны купался в одуванчиковом свете. Зварнов оставался вежлив к собеседнику, но лишь сильнее уверился, что герои до таких лет не доживают.

После чая он снова забрался на свою полку.

— Вы там спите? — вдруг разбудил его голос беременной.

— Нет, я не сплю, — он резко очнулся, открыл глаза и повернул голову.

— Ну ладно, понеспите.

Беременная сидела, подперев голову, опираясь о столик правой пухлой рукой, а левой поддерживая живот. У неё были крупные, тёмно-лиловые или даже оттенка красного цветочного чая глаза, которые сильно выделялись на фоне белых щёк. Нос тоже был белый, совершенно неприкасаемый в своей снежной белизне. Ветерана в купе уже не было. На месте старика теперь лежал парень-муж и читал мятый детектив.

— Вы так во сне говорили и так интересно, что я даже заслушалась, — сказала беременная. — Что это... Земля никакая не круглая, а как-то это... бубликом. Мне даже интересно. А в дырку-то как... почему люди не проваливаются?

Со сна ещё плохо соображая, Зварнов заился на полке и долго поправлял подушку, хотя обычно на подобные вопросы он отвечал на автомате, с улыбкой напоминая, что люди и раньше очень боялись падать головой вниз, узнав, что Земля внезапно оказалась круглой.

— Ещё чай будете? — спросила девушка.

Он хотел просто выпить горячего несладкого чаю, но когда его стали расспрашивать про то, о чём говорил во сне, он не смог устоять. Он начал рассказывать, объяснять, приводить доводы и быстро завёлся. Когда она встала и повернулась к нему спиной, он только отодвинулся, а когда она ушла к двери и стала искать что-то в карманах висящей одежды, он понял, что смертельно её утомил, но всё равно продолжал говорить, просто глядя ей в спину. У неё была тяжёлая русая коса, и ещё две струйки волос вытягивались вдоль шеи лёгкими бородками по обе стороны позвонков.

Впоследствии Зварнов сам не понимал, почему так разошёлся. Возможно, виной было то, что он слишком долго молчал, а может, ему просто понравилось это выражение удивления, поначалу то и дело возникавшее на крупном белом лице слушательницы. Раньше ему почему-то казалось, что беременные должны быть постоянно самоуглублены, а вот тут... Да, стоит получить поверх этой самоуглублённости чуточку внимания, и тебе уже кажется, что ты заглянул за горизонт.

Он вышел, когда девушка принялась возиться со своими сумками и пакетами, собираясь кормить обедом себя, мужа и будущего ребёнка. В туалете долго мыл руки, потом прислонился горячим лбом к зеркалу. Картина дыханием по стеклу.

В вагоне-ресторане пустовали несколько столиков, но когда он занял один, к нему тут же подсели два парня, видом и разговором местные студенты. Они были вежливы, но сразу предложили купить телефон, плеер, а потом высипали на стол целую кучу всего. Обед всем троим долго не несли, и Зварнов немного просветился насчёт новых гаджетов и девайсов и прочего, с чем их употребляют.

Из вагона-ресторана Зварнов вернулся с большой головой и накатывающим на всё тело ознобом, будто съел что-то нехорошее. В купе он сразу забрался на свою полку с желанием

заснуть и проснуться только тогда, когда поезд будет входить в город. Но поезд снова остановился из-за ремонта путей, и в коридоре громко прокричали о том, что впереди действительно большая авария.

В остановившемся вагоне уснуть оказалось ещё сложнее, чем если бы тот скакал и болтался на стрелках. Пейзаж за окном оставался неподвижен, хотя в своей неподвижности будто продолжал двигаться, пусть в обратную сторону. Время тоже, казалось, шло в обратную сторону, и Зварнову приходилось чуть ли не каждую минуту просыпаться и смотреть на часы, чтобы убедиться, что он находится по правильную сторону оси времени. И всё-таки он немного спал, хотя под конец ему снился сон, где беременной была вся Вселенная. Сначала она неуклонно увеличивалась в размерах, и всем было ясно, что теперь она будет расти до тех пор, пока не заполнит собой всё мыслимое и немыслимое пространство, но вдруг стала сдуваться, и все испугались, и Зварнов тоже. Он бросился к ней, чтобы удержать её от сдувания, но вдруг обнаружил, что остался один и что только лишь он по-прежнему — и по-настоящему — обнимает Вселенную, продолжает обхватывать её руками и ногами, прижимается к ней грудью и удерживает даже подбородком, потому что ему определённо казалось, что такое удерживание имеет большой физический смысл и что только таким способом уменьшение Вселенной возможно остановить. Он ещё не проснулся, когда уже понял всю абсурдность своих действий. Ведь если Вселенная была беременна, а тут начала сдуваться, значит, кто-то уже родился.

Когда он слез с полки, за окном было совсем темно. Занавески задёрнуты не были, и на чёрном зеркальном фоне окна хорошо отражалось всё, что происходило в купе, как на зеркальной матрице выключенного дисплея. Он извинился.

В тамбуре было сильно накурено, но пусто. Проводница отодвинула Зварнова и потянула на себя дверь. Свежий воздух клубом влетел и тотчас вылетел обратно. Проводница не переставая ворчала:

— Тоже надумали, когда сходить. А потом ещё окажетесь какой-нибудь террорист. Взорвёте пути, а меня к следователю. Больно как хорошо. Да заберите вы ваши деньги!

Она полезла в карман, но в руке был ключ, и он ей мешал.

— Нет, если сходите, так возьмите и сумку. Сумка ваша?

— Моя. Да. Сейчас.

— А то опять наоставляете тут. Кинологов на вас не хватает. Ну, так спрыгивайте же. Теперь он, может, долго не остановится.

Поезд только что снова тронулся, но шёл совсем медленно, рывками, брякали буфера. Зварнов спустился на подножку и, оттолкнувшись спиной назад, спрыгнул на насыпь, тут же сделав шаг по ходу движения. Дверь хлестко захлопнулась, поезд катился мимо ещё целую вечность.

Он не знал, куда шёл. Сначала по насыпи вдоль путей, пока три красных хвостовых огня маячили впереди, потом по обе стороны от себя он увидел какие-то поля, свернул и пошёл по полю. Земля находилась под паром, трава росла невысокая, но на ней уже чувствовалась роса — цепкий холод спускался откуда-то сверху, из космоса, от звёзд. Узкий серпик луны, как серьга, прицепившаяся где-то за ухом, серебряно освещал всю равнину, с её лесами и перелесками. Пели ночные птицы, скорбно ухала кукушка; ей в ответ, ещё более скорбно, трегубой аллилуйей, вскрикивала другая, уже трекукушка, наверное, удод. Он шёл, воспринимая все эти звуки и всю эту ночную картину лишь малой частью сознания, в которой был наиболее здрав. И ещё меньшей долей мозга он думал о себе, хотя и с улыбкой: «Ну сумасшедший, что возьмешь!»

Мерцающий вдали огонёк заставил его взять левее. Вскоре он упёрся в плотную стену ивняка, чёрную, как прилегшее на землю грозовое облако, и, обходя его, угодил в сырую болотистую низину. Обходя и её, он вышел на дорогу, по которой гоняли коров. Земля здесь была сплошные поперечные борозды выбитых копытами ям, и идти по ним приходилось, как по шпалам, досадно укорачивая шаг.

Возможно, он пришёл бы на ферму, но тут коровью дорогу пересекла дорога автомобильная, и он не смог не купиться на её ровность, гладкость и предсказуемость. Дорога вывела Зварнова в деревню, спящую, тёмную, освещённую только лунным серпиком, забравшимся уже высоко в небо.

Он прошёл почти всю деревню насквозь, когда, следя повороту дороги, в одном из последних домов вдруг увидел три освещённых окошка: два светились ярко, одно — тусклее. Он услышал, как скрипнула калитка и кто-то спросил:

— Слыши, мужик, курить есть?

— Нет, — ответил Зварнов, остановившись.

— Жалко. А ты часом не ветеринар?

— Нет.

— Жалко. А то замучила совсем. Может, зайдёшь, поможешь?

Зварнов не успел рассмотреть человека. Тот стоял в тени от куста, придерживая калитку, а увидев, что прохожий колеблется, не стал ждать и ушёл в глубь двора, тоже в тень, но уже от дома. Зварнов прошёл по дорожке до калитки, открыл её и закрыл за собой, потом оставил сумку на дорожке перед крыльцом и обогнул дом. Сарай был хорошо освещён, внутри слышался недовольный разговор кур, и работало какое-то радио. Зварнов не стал заходить, хозяин уже вышел сам. Это был ещё молодой и худоватый мужик, но уже солидный в движениях, точно заранее готовился потолстеть. В руках он держал с полубухты пеньковой верёвки.

— Ага. Пошли. Вон туда, — сказал мужик, перехватив верёвку поудобнее. — Вот дура, припёрлась прямо на огород, а я на прошлой неделе только картошку посадил.

Они открыли ещё одну калитку и вышли в сад-огород, где с одной стороны росли кусты и деревья, а с другой виднелся большой участок вскопанной земли.

Мамонтиха лежала посреди картофельного участка, но вовсе не походила сама на себя. На первый взгляд тут, казалось, опрокинули и уже слегка растащили огромный воз сена. Причём будто сено привезли на санях и опрокинули тоже вместе с санями — отчётливо белела самая передняя, круто загнутая часть полоза, похожая на слоновий бивень.

— Ну вот, смотри, видишь сам. Видишь тут чего, — проговорил хозяин наполовину растерянным, наполовину ворчливым голосом. — Нашла место. А если тут и помрёт, что мне потом с этим делать? Тут всё на сто лет вокруг провоняет. Хоть дом переноси. И так уж сама пахнет, как гнилой валенок. Я звал-то тебя чего, ну, чтобы, может, поможешь? Ведь если помочь, то, может, и сама разродится. Тогда, может, встанет и уйдёт...

Он повернулся голову в ту сторону, откуда протянулись по пахоте несколько глубоких

следов и где в конце огорода был повалена изгородь. Зварнов тоже посмотрел на поваленный забор.

Мамонтиха лежала на боку, один бивень полностью зарыт в землю, другой действительно походил на переднюю, загнутую часть полоза от саней.

— Ну ладно, — вздохнул хозяин, — ну, давай, чего время терять. Подруге надо помочь. Я на ней уже немного попрыгал, но там, где живот, там одному не устоять, больно круто. А то она ещё как задышит — улетишь разом. Нет, надо вдвоём, держась за верёвку, и чтобы обязательно подгадать под её туженье. Будем прыгать на раз-два-три и сразу всем весом. Я сейчас пошёл на ту сторону, перекину тебе верёвку, а ты её привяжи за ногу и кинь мне обратно. Я тут уже всё продумал.

Хозяин зашел с другой стороны, перекинул верёвку, Зварнов поймал её в воздухе и крепко обмотал толстенную корявую ногу. Нога наполовину выглядывала из-под водопада густой и вонючей шерсти и была не так тяжела. Не тяжелее бревна. Даже с комля. Лишь ступня у ноги оказалась непривычно широкая, как бочонок; к ней забавно прилепилась семейка раковин-ногтей.

После первой верёвки натянули ещё две. Вторую — в качестве страховочного леера, от бивня и до хвоста.

Мамонтиха шумно выдувала из себя воздух; её короткий, опутанный волосами хобот то откидывался за голову, то снова прятался в норку между передних ног. Мелкий, несопротивляемо маленький, совсем крошечный глаз смотрел в небо не мигая. В нём зыбко подрагивал ещё более крохотный серпик луны.

— Ну, тужься, божья корова! — хозяин грозно пнул по грязной мамонтовой ноге, но задумался. Постоял. Потом ещё раз обратился к Зварнову. — Слушай, а если я всё-таки трактором, а? Под брюхо её tolknу, вот сюда. Как думаешь, ничего? Мне только картошки жалко, весь огород к чёрту расковыряем. Ну, ладно, попробуем пока так. Ага? Что, полезли?

— Ага.

Александр Кормашов родился в 1956 г. в городе Тарнога Вологодской области. Работал лесником, шофёром, служил в армии. Окончил пединститут, учительствовал. Редактор, журналист, переводчик. Автор трёх поэтических сборников. Проза выходила в журналах «Москва», «Новый мир», «Север», «Лад Вологодский» и др. Живёт в Москве.



Михаил Свищёв

Вначале всё равно играет музыка

04/12

...а Сталин в мавзолее как живой,
и космос навсегда над головой,
и списано домашнее задание,
и прячет в парте Валька-деловой
подпольный снимок с темой половой,
и тётичка на карточке забавная.

Григорьева вчера сказала «да».
Чем реже рожь, тем слаше лебеда,
и вовсе не её в подъезде лапали.
Как Марья Венедиктовна седа...
И только начинается среда
под спящими неоновыми лампами.

Задачка про шахтёров решена,
а дальше всё, а дальше тишина,
глубокая апрельская прогалина,
где пара жигулёвского — цена,
и небо как кремлёвская стена,
в которой нет ни Бога, ни Гагарина.

Внаём

Ему не платят за угол жиличка,
за свет и газ, за мусоропровод.
Но в сердце проживает третий год,
и пользоваться даже по привычке

широкой ванной сообща нельзя.
Везде пылятся общими местами
пустые двери, где уже не вставить,
ни встать ни сесть. Ни лечь, ни дать

ни взять.

На кухне свет как старое бельё,
и только на прабабкиной иконе
белеет свечка. Он её не гонит,
но и оформить больше не зовёт.

Квадрат окна горошек пересёк,
лицом к стене молчит радиоточка.
Убавь пятак — ему была бы дочкой,
накинь — женой. А так ни то ни сё.

Он врёт друзьям за водкой, как завод, —
«у ней пожитков — платье да гребёнка,
куда она пойдет с больным ребёнком?»
и всякий раз иначе назовёт...

* * *

еще горит палатка «фрукты-овощи»,
и светятся в картонках померанцы,
но можно пробираться только ощупью,
поскольку больше нечем пробираться.

коснись рукой хоть яблока, хоть облака, —
весь мир покрыт от края и до края
мурашками застенчивого опыта,
незрячими пупырышками брайля.

щебечут светофоры снисходительно,
стоит Гомер в советском переводе,
и взрослые, как дети без родителей,
на красный свет дорогу переходят.

* * *

О.К.

чёрным ходом вспыхах
лето мёртвое выносят,
я успею два стиха
написать ещё про осень,

ткнуть иголкою под дых
нелюбимую пластинку,
две тебе переводных
подарить ещё картинки,

на одной лошадка пустынь,
на другой зелёный клевер, —
у порога обернусь
посмотреть, куда наклеишь.

По небу полуночи

Здесь петухи ложатся с курами,
встают помятными и хмурыми —
что был, что не был.

И сон, как явь, и правда наглая,
и не приметишь даже ангела
в нелётном небе,

нет-нет, — мелькнут винты соосные,
несёт «пожарника» над соснами,
и высшей мерой
стоит в России время летнее,
как молодой июльский Лермонтов
лицом к барьерау.

Плюс двадцать солнечных по Цельсию
ещё в глаза тебе не целятся,
но греют скудно,
и тени с мест ещё не тронулись,
и те же сосны машут кронами,
ещё секунду

над секундантами замёрзшими
висит дымок пуховым пёрышком,
и зло по-совы
бухтят в ушах часы с кукушкою
и озорной язык, прикушенный
на полуслове.

Сенека в ванне

О чём спалось? — что надо звать врача,
что если бы ещё хотя бы месяца,
что на любовь с господского плеча
достанет жизни, но не хватит мести,
что Агриппина выкорчит волчат,
и сапожки набойками стучат
на бойком месте,

что рубят лес — пылают корабли,
что на орла всегда ложится решка,
что дождь пошёл, и капли пролились
сквозь холод свежевымытых черешен
на сохнувший укроп и базилик.
И грешниц не хватает у земли
для всех безгрешных.

Бонни & Клайд

ты с серёжками наденешь
удивительное платье
если купим много денег
то на жизнь наверно хватит

если прошлое заложим
если правила нарушим
если ты столовой ложкой
раскурочишь мой наручник

если влезем в чувство долга
и на карту в долг поставим
если жить не очень долго
в самый раз на жизнь достанет

* * *

теперь, наверно, есть тебе и мне
о чём сказать трудней, чем онеметь —
который день каникулами кружит
под веками сплошное аниме,
дудит в трубу крылатый абонент,
снаружи хуже.

там зимний вечер тёмен и раскос,
там на живых не действует наркоз,
там восемь раз напишут и обрежут
на этикетке «внутр.», читай — насквозь,
без линз — что «молоко», что «холокост»,
внутри как прежде.

там свет лежит на цинковом столе,
и день как перевёрнутый валет
сквозь дёготь луж глядит на побратима,
и ветка топором торчит в стволе,
и на потом всегда хватало лет
и не хватило.

Стакан воды

...нет, они не сойдут,
в золотистой парче или без,
перевесить судьбу —
хоть бы нашу с тобой,
хоть бы чью-то,
потому что при жизни
уже не случится чудес,
только узкий проём,
где сливаются
жизни и Чудо.

и когда нам придёт
 тот последний
 большой раскардаш,
 о каком так наивно
 слагали ещё с Иоанна,
 ты, наверное, мне
 и стакана воды не подашь,
 и сама не возьмёшь
 у меня ни воды,
 ни стакана.

Вначале всё равно играет музыка

как семечки, матрос улыбки лузгает,
весь третий класс в корзинках и с цветами,
вначале всё равно играет музыка,
и рвёт волну с иголочки Титаник.

и галстуки не в тон, и туфли узкие, —
ни пальцам, ни гостям не хватит места,
вначале всё равно играет музыка,
пока глотает каустик невеста.

вечерняя арена пахнет мускусом,
блондинки ждут живых бандерильеро,
вначале всё равно играет музыка,
слушающей собой утробный рёв вольера.

по краешку пройти — не дёрнуть мускулом,
узнав себя в бродячем акробате,
вначале всё равно играет музыка,
вначале всё равно играет музыка,
и только после — комья на лопате.

Теория относительности

по всей Москве погашен верхний свет,
и гербовой не отличить от писчей,
и дважды заподозрят в колдовстве,
пока отыщешь тапочки и спички,

пройдёшь к окну, присядешь на диван,
в пяти квадратных саженях без метра
не находя, куда себя девать,
поскольку обнаружил, что бессмертен,

что есть окно, бессонница, среда,
есть сажени, и даже, без базара,
есть смерть твоя, но как бы не всегда,
и битый час проходит, как в слесарной

по ржавчине проходится наждак,
как скорая проносится по встречной...
часы стоят? — какая в них нужда,
когда с тобой опять случилась вечность?

Анкета

любимое занятие — слова,
привычки — контрабасы и трамваи,
с одиннадцатого лета сорок два,
судьба сложилась так, что проживаю.

гражданская позиция — финал,
общественная роль — пиджак и галстук,
в чём принимали — в рюмке принимал,
участвовал — не факт, но привлекался.

характер отношений — уходил,
цель возвращенья — чаще за вещами.
мужской журнал — со школы «Крокодил»,
последняя работа — завещанье.

судимости — уже не по годам.
союзная республика — Крещатик.
ваш общий стаж — на это не гадал.
вы счастливы? — наверное. отчасти.

Михаил Свищёв родился в 1969 г. Окончил Литературный институт им. Горького. Профессия — журналист.

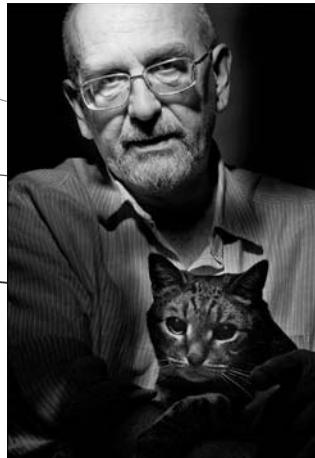
В настоящее время — главный редактор издательского дома «ПЛАС».

Подборки стихотворений публиковались в журналах «Наш современник», «Новая юность», «Литературная учёба», «Дети Ра», «Кольцо "А"», «Нева», «День и Ночь», «Сибирские огни», альманахах «День и Ночь», «Волшебная гора», «Окрестности», «Алконость», а также в зарубежных изданиях.

Автор книги стихотворений «Последний экземпляр» (Воймега, 2009).

Лауреат Международной Волошинской премии (2010) и Международного конкурса им. Гумилёва (2011).

Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Живёт в Москве.



Юрий Буйда

Рассказы

Храбрая, любящая и неудержанная Жанна де Бо

Утром в субботу позвонил Игорь Иринархов, попросил приехать, был очень серьёзен, пугающе серьёзен, когда сказал, что дело важное, очень важное для них обоих, для него и для Жанны, во всяком случае, для него точно важное, потому что речь идёт о будущем, то есть о будущем его и Жанны, но об этом лучше поговорить при личной встрече, потому что по телефону как-то неудобно просить о том, чтобы Жанна стала его женой, а надо просить не по телефону, а лично, при встрече, лицом к лицу, поскольку речь идёт о будущем, и тут он запутался и замолчал, а перепуганная Жанна сказала, что, конечно, вечером приедет, и они поговорят о чём угодно, хоть о будущем, хорошо-хорошо, и Игорь положил трубку, а Жанна, которая знала его как человека довольно циничного и вообще насмешника, села на полу в прихожей, схватила себя за волосы и замычала, вся дрожа и стараясь не думать о том, о чём думать нельзя ни за что, ни за что, нет-нет, ни за что, но всё же думала о том, что послезавтра ей исполнится пятьдесят два, да, пятьдесят два, ни за что...

Она позвонила Ольге, и та согласилась заняться её причёской после обеда.

До обеда Жанна прошла по магазинам, купила туфли, платье, юбку с разрезом сбоку и юбку-годе, два ожерелья, перстень с жёл-

тым камнем, браслет, чулки цвета «загар» и чёрные чулки в сеточку, перчатки, ещё одни туфли, белое кружевное бельё с искрой, ещё один браслет, бутылку итальянского красного вина, сыр, шарф, второй шарф, третий, помаду, духи, инжир, виноград, опять духи, опять туфли и ещё один комплект белья — чёрного кружевного, а потом ещё одни туфли — на очень высоком тонком каблуке — и бутылку белого французского.

Когда Мамура спросила: «Как обычно?» — Жанна сказала: «Нет, вот этим», и педикюрша покрасила ногти красным лаком, хотя даже летом Жанна предпочитала бесцветный.

Дома она надела кружевное бельё, туфли на высоком тонком каблуке, налила в бокал итальянского, подошла к зеркалу, прошептала: «Ну дура, о господи...», выпила залпом, вспомнила, как на похоронах Полины всё время терлась возле Игоря, ревнуя его к женщинам, которые без стеснения обхаживали вдовца, и как ей потом было невыносимо стыдно, — и бросилась в туалет, чтобы не заблевать ковёр в спальню.

До вечера она пролежала на диване, завернувшись в плед и тупо глядя в угол, но когда позвонил Игорь и спросил, приедет ли она, Жанна вскочила, надела чёрное кружевное бельё с искрой, чулки цвета «загар», юбку с разрезом, новые туфли-лодочки, накрасила губы кровавой помадой, в прихожей сняла с правой руки перчатку, перекрестилась перед зеркалом, трижды плюнула через левое пле-

что, с силой хлопнула дверью и двинулась вниз по лестнице, решительно звякая при каждом шаге тонкими стальными феррагамовскими каблуками...

Детство сестёр Богомоловых прошло под кроватью. Засыпав шаги великана, Жанна хватала младшую сестру и бросалась на пол. Они заползали под кровать, устраивались на одеяле и ждали, пока великан угомонится. Он топал ногами, кричал, стучал кулаком по столу. Это могло длиться часами, и иногда Жанна и Мила засыпали под кроватью, так и не дождавшись, когда же великан успокоится.

Возвращаясь из школы, Жанна быстро съедала обед и забиралась под кровать, где её ждала Мила. Старшая делала уроки, а потом читала младшей сказки или рассказывала истории о двух девочках, заблудившихся в страшном лесу. Бедные девочки долго плутали в чащобе, прячась от вампиров, леших и нетопырей, потом, наконец, оказывались на берегу волшебного озера, вода которого делала их неуязвимыми, потом они храбро сражались с могучими великантами и злобными драконами, а потом встречали принцев, которые, опустившись на колено, говорили: «Легче спрятать слона под мышкой, чем нашу любовь к вам», и девочки выходили замуж за этих принцев, увозивших их в золотые заоблачные замки.

Даже после того как их мать развелась с вечно пьяным великаником, девочки ещё долго не осмеливались вылезать из-под кровати. Они так привыкли прятаться, что это свойство стало второй их натурой. Чтобы не привлекать к себе внимания, они хорошо учились, одевались как все, красились и курить начали не раньше и не позже, чем сверстницы. Не уродливые, но и не красивые, молчаливые, всегда в серой или коричневой одежде, они держались в стороне от всего шумного, громкого и яркого.

Мать вскоре умерла, и Жанна стала главой семьи. Она училась в институте и работала, следила за тем, чтобы младшая сестра вовремя меняла бельё и делала уроки. Редкие свободные часы Жанна проводила дома, зубрила английский, немецкий и французский, прячась от великанов, которые только и знали, что пить да драться. Настоящую жизнь она откладывала на завтра, хотя и в будущем ей хотелось бы жить в тени, под кроватью, чтобы никто до неё не смог добраться.

Стоило младшей сестре надеть ярко-жёлтую футболку и выйти из тени, как она тотчас

оказалась замужем за великаником, от которого через год родила мальчика — Мишу, Мику, и понадобилось ещё два года мучений, чтобы развестись с этим пьяницей и драчуном и вернуться в родной дом, к Жанне, в тень.

После института Жанна устроилась в строительный трест, вскоре стала заместителем начальника планово-экономического отдела. После девяносто первого года трест развалился, входившие в него заводы, комбинаты и управления кое-как выживали, объединялись, то и дело меняя владельцев и формы собственности. Жанна стала первым заместителем финансового директора крупной девелоперской компании, которой владел сын директора треста, однокашник по институту Гарик Воронский, плейбой, обладавший, впрочем, хорошей деловой хваткой.

Однажды Гарик попросил Жанну взять на сохранение важный чемодан, а сам уехал за границу, скрываясь то ли от кредиторов, то ли от наёмных убийц. Через год он вернулся, и Жанна отдала ему чемодан. «И ты ни разу в него не заглянула?» — спросил Гарик. Жанна в ответ только пожала плечами. Гарик открыл чемодан, отсчитал сто тысяч долларов и вручил Жанне. А на следующий день подарил ей ключ от новой квартиры.

С той поры Жанна стала человеком, которому Воронский-младший доверял безоговорочно. Он открывал на её имя счета в России и за границей, покупал дома в Италии и Франции, будучи твёрдо уверен в том, что при необходимости Жанна в любую минуту вернёт всё это без колебаний. Ну разве что плечами пожмёт.

Жанна ходила к дорогим парикмахерам, носила дорогие мешковатые вещи, но никогда не выходила из тени. На корпоративных праздниках выставала полчаса в углу со стаканом вина и исчезала. Почти никогда не заговаривала первой. Избегала холодного и горячего, предпочитая бульварным романам и Достоевскому — Михаила Булгакова. Одевалась так, чтобы не выглядеть ни приманкой, ни загадкой. Не избегала мужчин, но и не проявляла к ним интереса. Три раза в неделю ходила в бассейн, четыре раза в месяц в частный стрелковый тир, где в серии из двадцати пяти выстрелов никогда не набирала меньше двухсот сорока очков, зимой бегала на лыжах. После работы садилась в свою маленькую машину и уезжала домой. Ужинала сыром и яблоками, читала, решала шахматные задачи, принимала тёплый душ, чистила зубы, ложилась, сворачивалась калачиком и засыпала.

На «чемоданные» деньги купила небольшой загородный дом, где проводила лето с сестрой и племянником Микой. Купались в лесном озере, обедали под соснами, в дождливую погоду Мила уезжала в Москву, где её ждал очередной дружок, а Жанна и Мика целыми днями занимались английским или играли в шахматы. Мика кричал: «Тронула — ходи!», Жанна хлопала его веером по лбу и хохотала.

На шестнадцатилетие Жанна подарила Мике мотоцикл. За ужином Мила выпила лишнего и ушла спать, а Мика предложил покататься на мотоцикле. «Под дождём?» — «А слабо?» На обратном пути мотоцикл занесло, и они вылетели в канаву. Вернулись на дачу грязные, поцарапанные, хохочущие. После душа Мика стал смазывать Жанну йодом, не удержался — принял лизать её ягодицы, бёдра, Жанна перевернулась на спину, сказала охрипшим вдруг голосом: «Тронул — ходи», и Мика выключил свет.

Рано утром, когда Мила и Мика ещё спали, Жанна уехала в Москву.

Через неделю она в полном одиночестве отпразновала сорокалетие. Приняла тёплый душ, выпила бокал кьянти, почистила зубы, выкурила ментоловую и легла, свернувшись калачиком. Но заснула не сразу — было такое ощущение, будто в сердце завелись глисты.

Со своим первым мужчиной она больше не встречалась, хотя Мика звонил каждый день: ей не хотелось, чтобы нагромождение событий — её привычная жизнь — превращалось в память. Загородный дом подарила сестре и никогда там не появлялась.

«Не бойся, — сказала Пипа. — Это только еврейки в Освенциме залетали с первого раза».

Это была странная шутка, но Пипа — вообще-то её звали Полиной — и её муж Игорь Иринархов были странными людьми, они жили странной жизнью, и дружба с ними была тоже странной.

Жанна знала Пипу со школы. Они не были особенно близки, но когда мать выгнала Пипу из дома за связь с женатым мужчиной — школьным учителем физики, Жанна пустила Пипу в свой дом, где та и прожила несколько месяцев. Она была похожа на цыганку — смуглая, нос с горбинкой, огромный рот. Рассказывая об учителе, Пипа вдруг понизила голос и со смехом сказала: «Да он-то ладно, не лучше и не хуже других, а вот его жена в постели оказалась такой горячей штучкой...» Она была настоящей шлюхой, но при

этом в ней не было ни капли вульгарности и пошлости, и именно этим Пипа и подкупала травоядную Жанну.

Через два года, когда Жанна уже училась в институте, Пипа предложила ей подзаработать. Они снимались в фильмах, сделанных по заказу министерства здравоохранения и посвящённых профилактике заболеваний молочной железы у женщин. Их инструктировала суровая усатая докторша, а потом они поочереди стояли перед камерой в одних трусиках и демонстрировали массаж груди. Кадры с Жанной в фильм не вошли: начальство посчитало, что она выглядит слишком сексуально, но деньги за съёмки заплатили неплохие.

Пипа рассказывала, что фильмокопии использовались по прямому назначению, в медицинских целях, но были и особые заказчики, ценители, для которых снималось продолжение фильма. Делалось это, разумеется, втайне. В те времена за это можно было угодить в тюрьму, но Пипу это не пугало: ей нравилось раздеваться перед камерой, а деньги платили огромные.

Однажды Жанна спросила, что стало с теми кадрами, которые не вошли в фильм о профилактике заболеваний молочной железы, но Пипа об этом ничего не знала. Несколько месяцев Жанна терзала мыслью о том, что плёнку продали этим самим особым заказчикам, которые теперь пускают слюни в темноте тайных кинозалов, глядя на её нагую грудь, и боялась встретиться с этими людьми на улице. Стоило хорошо одетому мужчине бросить внимательный взгляд на Жанну, как она бросалась бежать — бежать куда угодно, в укрытие, в тень, под кровать.

Снимал эти фильмы Игорь Иринархов, широколобый блондин огромного роста, который работал тогда оператором на Центрнаучфильме. Вскоре Пипа стала его женой.

Время от времени Пипа приглашала Жанну на вечеринки, которые Игорь устраивал в доме на Жуковой Горе. Там собирались мальчики с подведёнными глазами, женщины в чёрных кожаных жилетах, трансвеститы, наркоманы и алкоголики, но Жанна чувствовала себя в этой компании невидимкой, лёгкой и свободной. Она словно и не выходила из тени, когда с бокалом вина перешагивала через обнажённые парочки, устроившиеся у бассейна, или сидела в кресле, наблюдая за слившимися в объятиях мужчинами. Она не вспыхивала и не сердилась, если какой-нибудь маленький клал руку на её ягодицы, — просто ускользала. Её не удивляли все эти кор-

сеты, хлысты, кожаные шлемы, ошейники с шипами, маски и другие странные вещи из гардероба Пипы, о назначении которых оставалось только гадать. Возвращаясь из спальни, где она только что делала минет какому-нибудь гостю, Пипа вытирала губы и нежно целовала мужа, а тот с улыбкой похлопывал её по крупу, и этому Жанна тоже вскоре перестала удивляться.

Эта жизнь была настолько чужой и чуждой Жанне, что возвращение в жизнь обыденную, привычную давалось ей без каких бы то ни было усилий. Может быть, всё дело в том, что она, как и те люди на Жуковой Горе, все эти гомосексуалисты и наркоманы, жила вне времени...

«Не бойся. Это только еврейки в Освенциме залетали с первого раза», — сказала Пипа, когда Жанна рассказала ей о Мике. Это было двенадцать лет назад. И вот уже почти год, как Пипы нет в живых: погибла в автомобильной аварии. И осталась бы она и вечеринки на Жуковой лишь случаями в том нагромождении событий, которое заменило Жанне память, если бы не звонок Игоря, заставивший её сделать педикюр, надеть чёрное кружевное бельё с искрой, чулки цвета «загар», юбку с разрезом, новые туфли-лодочки, накрасить губы кровавой помадой, сесть за руль маленькой машины и помчаться на юг, трясясь от стыда, потому что если женщина зимой делает педикюр, да ещё красит ногти на ногах, значит, она надеется на то, что мужчина увидит её ногти, а для этого надо снять чулки, то есть раздеться, а она делала это двенадцать лет назад, когда Мика принял лизать её бедра, и она перевернулась на спину и сказала обречённо: «Тронул — ходи», и, конечно, ни за что она не скажет Игорю, что за пятьдесят два года секс у неё был лишь один раз, да и то с шестнадцатилетним мальчишкой, впопыхах, в страхе перед Милой, которая могла в любую минуту проснуться и застукать дрожащего от возбуждения сына и трясущуюся в приступе зоологической похоти сестру, торопившую мальчика, горячечно шептавшую: «Ещё, ещё, ещё», это было помрачение ума, *seizure disorder*, а наутро она сбежала, спряталась в тени, под кроватью, и больше никогда ничего не было, и мыслей об этом не было, и никаких чувств не было, даже забвения не было, потому что не было памяти, а потом вдруг — на тебе, откуда что взялось, из каких адских глубин души: туфли на тонком каблуке, чулки и эти, чёрт возьми, бесстыжие крашеные ногти на ногах, глисти

в сердце, пересохший рот, боже, боже, вовремя спохватилась, выжала газ, проскочила между двумя огромными самосвалами и встроилась в крайний правый ряд, чтобы не пропустить поворот на Жукову Гору...

В темноте она свернула не туда, запуталась, въехала в овраг, полный снежной каши, двигатель заглох, и до Жуковой Горы она добиралась пешком. Ввалилась в прихожую мокрая с головы до ног, грязная и промёрзшая. Волосы слиплись, из носа текло, а туфли пришлось снять — сломался каблук.

— Немедленно под душ, — приказал Игорь, протягивая Жанне бутылку. — Глоток и под душ.

Горячая вода смыла остатки макияжа. Жанна стояла под душем с закрытыми глазами и улыбалась. Все её судорожные приготовления к встрече с Игорем оказались пустой трата времени, денег и нервов. Из душа она выйдет ненакрашенной, без чулок, без кружевного белья. Впрочем, Игорь, похоже, не очень-то готовился к встрече: на нём был расстянутый свитер, джинсы с пузырями на коленях и растоптаные домашние тапки. Жанна боялась предстоящего разговора. Боялась, что он попросит её стать его женой. А ещё больше боялась, что он об этом не попросит. Всё это было странно и страшно. Игорь обращал на неё внимания не больше, чем на любую другую женщину, приходившую на вечеринки. Они часто дружески болтали, однажды он сказал, что у неё фигура Парвати, дивная фигура, это запомнилось, но больше ничего не было. По существу, они не знали друг друга. Жанна не знала, чем занимается Игорь, чем зарабатывает на жизнь, а об остальном даже не догадывалась. Да и он о ней ничего не знал. Он не знает, какая она Парвати — светлая Гаури или тёмная Шьяма. И вот вдруг он ей звонит, она делает педикюр, мчится за город, бредёт в темноте по раскисшему грязному снегу, а теперь стоит под горячим душем и думает о том, что они совсем не знают друг друга, однако через десять минут он попросит её стать его женой, и Жанна, конечно же, скажет «да», потому что сделала педикюр...

Она застонала, как от боли, надела махровый халат и на подгибающихся ногах вышла из ванной.

Первый этаж представлял собой огромный зал с широкой кроватью посередине, окружённой с трёх сторон аквариумами — большими и маленькими, голубыми и зелёными, с полосатыми муренами и золотыми рыбками. Кухня

и ванная были спрятаны за ширмами из матового стекла. На второй этаж вела широкая лестница.

— Мы здесь! — крикнул Игорь. — Поднимайся!

Это «мы» напугало Жанну. Она бегом поднялась на второй этаж, толкнула приоткрытую дверь и увидела Игоря, сидевшего на краю кровати и державшего за руку мальчика лет восьми-девяти, который лежал под одеялом.

— Это Максим, — сказал Игорь. — А это Жанна. Познакомьтесь.

Жанна подошла ближе, присела на корточки, как перед собакой, и сказала:

— Привет, Максим.

— Привет. — Мальчик улыбнулся. — Ты тоже любишь ходить босиком?

— Люблю, — сказала Жанна. — У вас тепло.

— Пора спать. — Игорь поцеловал мальчика в лоб. — Пожелай Жанне спокойной ночи.

— Спокойной ночи, милая Жанна, — сказал Максим. — Спокойной ночи, милый папа.

— Спокойной ночи... — Жанна сглотнула. — Спокойной ночи, Максим.

Игорь выключил свет, оставив включённым ночник в дальнем углу спальни.

— Папа? — спросила на лестнице Жанна.

— Папа, — ответил Игорь, пропуская Жанну в кухню. — Коньяк? Виски? Вино? — Вытащил из корзины охапку грязной одежды, присел перед стиральной машиной. — Парень вывалился в снегу, надо бы всё это постирать...

— Не всё это, — сказала Жанна, отстранивая Игоря. — Нельзя же белую рубашку стирать с чёрным свитером. Где у тебя порошок?

— Поздно спохватились, — сказал Игорь, когда Жанна запустила машину и вернулась за стол. — Надо было раньше рожать. А теперь вот... сама видела...

— Даун?

Игорь кивнул.

— Он жил с бабушкой, с моей матерью, но два месяца назад она умерла... — Игорь помолчал. — Я не хотел бы, чтоб ты думала... то есть мне действительно нужна жена... то есть Максиму нужна мать... то есть не мать, а кто-то... — Перевёл дух. — Никогда не думал, что это так трудно...

У Жанны от коньяка кружилась голова.

— Мы же не знаем друг друга, Игорь, — сказала она. — Совсем не знаем. Ты обо мне ничего не знаешь. Я тебе расскажу, потому что ты должен знать про меня хоть что-то, а я

про тебя, но сначала про меня, потому что это самое трудное. — Глотнула воздуха. — Мне пятьдесят два, отец был алкоголиком, и всё детство мы с сестрой прятались от него под кроватью. Я хорошо научилась прятаться. Под кроватью я была храброй Жанной де Бо, прекрасной и решительной принцессой, под кроватью я жила настоящей жизнью. Только там. Во мне сто семьдесят восемь сантиметров и шестьдесят четыре килограмма. Я не вру: шестьдесят четыре честных килограмма, а ты как хочешь. И лифчик пятого размера. Французского пятого. А бёдра — сто десять сантиметров. У Парвати, кажется, тоже было сто десять. Или сто двадцать. У индийских женщин широкие бёдра, но я не индийская женщина, у меня сто десять, и, боже мой, какой же бред я несу. Талия шестьдесят, бёдра — сто десять. Но я тебя не знаю, а ты не знаешь меня, вот в чём дело. До сорока лет я была девственницей. Первым моим мужчиной был мальчишка, мы занимались любовью на полу, наспех, мне было стыдно, то есть мне потом стало стыдно, а когда мы возились на полу, стыдно мне, конечно, не было, зато потом я чуть не умерла от стыда. Ни до, ни после того у меня не было мужчин, вообще не было. Я не лесбиянка, но мужчин у меня не было. Перед сном я съедаю яблоко, чищу зубы, ложусь и сворачиваюсь калачиком. Когда ты позвонил, у меня зачесалось сердце, как будто в нем завелись глисты, хотя я тебя не знаю, а ты не знаешь меня. Я купила кружевные трусики, чулки цвета «загар», туфли на шпильках, но всё это теперь грязное, потому что я въехала в овраг и сюда добиралась пешком, хотя и не знаю, какого чёрта я тебе всё это рассказываю, потому что ничего не осталось, только халат, а под ним ничего, только педикюр. — Она выставила ногу из-под стола. — Видишь? Это ногти. Ногти. Сейчас зима, а я сделала педикюр. Накрасила ногти — видишь? Это чёрт знает что такое, но я это сделала — взяла и накрасила, ну не сама, а Мамура, педикюрша, она накрасила, но ведь решила-то я. Я болтаю, Игорь, не от коньяка, а от страха, потому что боюсь. Жутко как боюсь. У меня никогда не было настоящего мужчины, а нам скоро в постель, а я ни разу не целовалась с женщиной и даже не знаю, как надо губы держать правильно и вообще, и я боюсь, что ты будешь смеяться, потому что я тебя тогда задушу вот этими самыми руками, если ты будешь смеяться, вот этими руками...

Игорь потянул её к себе, подхватил на руки и понёс в комнату, а она продолжала го-

ворить, бормотала что-то бессвязное, обхватив его рукой за шею с такой силой, словно хотела задушить, лепетала что-то бессмысленное, выпраштывая руки из рукавов халата и извиваясь всем телом, а потом хотела сказать «да», и сказала бы, если бы не Игорь...

Через месяц они поженились. Летом поехали в Хорватию, три недели провели в Дубровнике. Занимались любовью на пляже, в отеле, в туалете, в автомобиле — где угодно, в любое время, иногда — на глазах у туристов. Жанне нравилось быть немножко распущенной, щеголять в вызывающе коротких шортах и вертеть задницей, от которой мужчины не могли оторвать плотоядных взглядов. Чтобы не захлебнуться счастьем, ей приходилось иногда плакать тайком от Игоря и Максима.

В самом начале совместной жизни Жанна рассказала Игорю о компании, где она работала, и о Гарике Воронском, а Игорь — о своём тёмном и холодном бизнесе: он владел несколькими порностудиями. Жанна не была ханжой, но о закулисье порнобизнеса знать ничего не хотела. Игорь и не настаивал.

Иринархов был одним из арендаторов Фабрики, находившейся в нескольких километрах от Жунглей. Когда-то там выпускали что-то полувоенное, потом канцелярское, потом затеяли швейное производство, а когда и оно лопнуло, помещения стали сдавать в аренду. Фабричные цеха превратились в склады стройматериалов и бытовой химии, китайской одежды и вьетнамской обуви, в авторемонтные мастерские и оптовые магазины.

Порностудия располагалась в ангаре на задворках Фабрики, у ограды, нависавшей над оврагом. Хозяева Фабрики знали, что творится в студии, и не хотели, чтобы фабричные — все эти продавцы и грузчики, сварщики и хинкальщики, русские и китайцы, украинцы и турки — догадывались о том, зачем сюда по вечерам приходят девушки в куртках с воротниками из лиловых перьев и парни с подкрашенными глазами. Поэтому артисты добирались до Фабрики оврагом и попадали в ангар через незаметную дверь в ограде.

И вот однажды в овраге нашли мёртвую порноактрису. Ей было девятнадцать. Её изнасиловали, убили и бросили в овраге.

— Это Климс, — сказал Игорь.

Про этого невысокого парня с хищным профилем и утлыим черепом, носившего рубашки в облипочку и остроносые ботинки, говорили, что у него в голове мышь сдохла. Он запросто мог пырнуть ножом приятеля, а строптивых

девушек, не желавших с ним спать, попросту насиловал. За ним и его дружками числилось несколько убийств, но у милиции не было доказательств. Климс избивал, калечил и убивал кавказцев, таджиков, вьетнамцев, проституток, сутенёров, наркоторговцев, нацистов, антифашистов, очищая Россию от всего вредного, чужого и мечтая когда-нибудь добраться до евреев-олигархов. Так он сам говорил не раз — это слышали завсегдатай чудовского ресторана «Собака Павлова», где Климс и его дружки вечерами пили пиво. Он ненавидел всех, и его никто не любил.

— Больной на всю голову, — сказал Игорь. — Говорят, он был любовником собственной матери...

Милиция и на этот раз не нашла никаких доказательств причастности Климса к убийству.

Игорь купил «беретту».

Через месяц в овраге был найден мёртвым Александро.

Этот мулат был настоящей находкой для Игоря. В отличие от русских актёров Александро мог довести любую сцену до конца и не разрядиться в самый неподходящий момент. Он не пил, не курил, не ел генно-модифицированную курятину и занимался спортом. Игорь платил Александру в десять раз больше, чем другим актёрам, и в двадцать раз больше, чем актрисам.

Мулату перерезали горло, отрезали гениталии и затолкали в рот.

— Надо уезжать, — сказала Жанна. — Немедленно. Плюнь на всё. Деньги есть. У меня только в Швейцарии и Лихтенштейне на счетах больше ста миллионов. Дом в Лозанне, дом в Абруццо, квартира в Париже, замок на Лазурном берегу, вилла во Флориде... Гарик не будет против, для него двадцать-тридцать миллионов — тыфу... да и не до того ему, его не сегодня завтра посадят, прокуратура уже возбудила дело... Уезжать надо немедленно... куда хочешь, но — немедленно... подумай о Максиме... и я... если с тобой что-нибудь случится, я... — Запнулась. — Я всегда была я, а теперь я — это мы, и я больше не хочу быть я, не хочу. Я беременна и хочу рожать...

— Почему не сказала?

— Вчера только врач сказал...

Игорь поцеловал её, прошептал:

— Ничего не бойся. До вечера. Купи вина.

— Красного?

— Я приготовлю камбалу.

— Хорошо.

По дороге на работу она уже не думала об опасности, грозившей Игорю. Слишком сильно она была влюблена, слишком счастлива, чтобы думать долго о дурном. Она ни разу не произнесла вслух слово «счастье», она даже не думала никогда о счастье — она сама была счастьем. Сто семьдесят восемь сантиметров счастья, шестьдесят четыре килограмма счастья. Счастьем была яичница с ветчиной, чашка с крепким кофе, запах черничного шампуня, книжка, которую она на ночь читала Максиму, «спасибо, милая Жанна» — слова мальчика тоже были счастьем, и дом, и каждая ступенька лестницы, и вид из окна, и треснувшая на морозе губа, и насморк, и синяя свинья из сновидений — всё было счастьем, всё. Они прожили вместе семьсот двенадцать дней, и каждый день был счастьем-счастьем...

Вечером, выбирая в магазине вино, она позвонила мужу, но он не ответил. Взяла луарское белое и несколько бутылок кьянти. Снова позвонила, и снова Игорь не ответил.

О том, что случилась беда, она догадалась, увидев распахнутые настежь ворота. И входная дверь была не заперта. Прошла через гостиную — под ногами хрустело стекло от разбитых аквариумов, на полу ещё бились рыбы — поднялась в спальню, коснулась руки Игоря, на Максима старалась не смотреть, подумала о том, что вот сейчас вернётся домой, в московскую квартиру, поужинает сыром и яблоком, выпьет бокал белого, почтает, примет тёплый душ, почистит зубы, ляжет, свернувшись калачиком, но нет, достала из шкафа «беретту», села в машину, через полчаса была в Чудове, вошла в ресторан «Собака Павлова», сняла затвор с предохранителя, стрелять начала издали, крикнула: «Раз!» — и первой же пулей разнесла Климсу голову, считала выстрели, чтобы в решающий момент не остаться без патронов, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, приказала хозяйке ресторана Малине, замервшей у двери, выключить свет и, когда в зале стало темно, выстрелила ещё дважды, первый раз — в живот.

Женщина в жёлтом

Он так увлёкся насекомым движением секундной стрелки по циферблату, что не услышал, как у бровки тротуара остановилась машина. За рулём старенького BMW цвета мутной стали — правое заднее крыло помято

и кое-как закрашено — сидела девушка лет двадцати — двадцати двух. Довольно старомодные солнцезащитные очки скрывали чуть не половину лица.

— Привет, госпожа Кто Угодно, — сказал он. — В фас вы — Даша, но в профиль — настоящая Анна. У нас есть минута? Надо опустить спинку правого переднего сиденья — до предела, чтобы получилась тахта. Это возможно?

И только когда она опустила спинку сиденья, он легко прыгнул в машину.

— Сумка у меня за спиной, господин Кто Угодно, — насмешливо сказала девушка вместо приветствия. — Вы так внимательно смотрели на часы... Я опоздала?

— Нет. Эти часы подарил мне дядя. — Он вытащил сумку из-за спинки соседнего сиденья и, вытянув ноги, опустил заднее стекло (переднее опустила девушка). — Он сказал, что последним вздохом среднестатистического человека является семисотмиллионный. Ещё он сказал, что эти часы остановятся с последним ударом моего сердца. В детстве я пытался считать вздохи и секунды, но получалась какая-то ерунда... от этого можно сойти с ума... Кстати, я не боюсь женщин за рулём — у них только повороты налево получаются похуже, чем у мужчин. Так говорят. А может, врачи.

— А это зачем? — спросила она, поворачивая налево вниз, на кольцевую автодорогу, и косясь на его ноги, с которых он снимал туфли.

— Без ботинок я чувствую себя иначе. Не то чтобы свободнее... просто иначе... легче, если угодно... покой и воля, покой и воля...

Она улучила момент и встроилась в автомобильный поток.

— Одежда иногда так сильно влияет на человека... Поверьте, когда Достоевский писал «Преступление и наказание», он обязательно повязывал самый яркий галстук. И наверняка покупал в эти дни бесполезные, но красивые вещи... это раскрепощает... — Он улыбнулся. — А потом выбрасывал.

Она вдруг рассмеялась — ему понравился её смех.

— В детстве, — сказала она, — я впервые поняла, что такое быть по-настоящему свободной, когда у меня в трусиках лопнула резинка.

Он вежливо улыбнулся, даже не взглянув на неё: ему непременно нужно было трижды быстро разобрать и собрать оружие, чтобы чувствовать себя уверенным. На этот раз всё прошло без сучка и задоринки. Двадцатиза-

рядный автоматический пистолет Стечкина с удлинённым стволом и примкнутым прикладом. Пули со смещёнными центрами. Ещё две запасные обоймы в сумке. Остальное — в карманах куртки. А старые шуточки насчёт лопнувшей резинки пусть остаются в её обойме.

Девушка прибавила скорости, и они оказались в среднем ряду.

— Он будет справа от вас, в «жигулях», — сказала девушка. — Удобно?

— Мне всё равно, с какой руки. Но когда он выйдет на позицию, я сяду спиной к лобовому стеклу: с левой руки всё же удобнее. Когда его машина остановится...

— Я приторможу. — Помолчала. — И вы что — вот так, в одних носках, высокочите на дорогу?

— Вам же будет неловко оставлять разутого человека одного на дороге. — Он улыбнулся, показав неплотно пригнанные, с желтоватым отливом зубы. — Друзья зовут вас Анютой. Анна. В профиль — Анна.

— У нас в запасе около восьми минут, — сказала она. — Мне говорили, что вы человек без особых примет, но любая женщина вспомнит ваши глаза... цвет...

— Это контактные линзы. — Он вытащил из нагрудного кармана очки с жёлтыми стеклами, поправил дужки. — Я подарю их вам на память. А у вас очень красивые уши. Запоминающиеся.

Их обогнал огромный грузовик с синим брезентовым фургоном.

— Пять минут, — сказала девушка. — А как вы догадались, как меня зовут?

— Обязательно потом расскажу, — пообещал он. — Я вообще много чего знаю... всякого... У нас на чердаке валялись такие мягкие книжки — «Знаете ли вы?». А в них много всего глупого и интересного...

— Минута, — напомнила она.

Движение на кольцевой позволяло маневрировать, и когда фургон дважды посигналил габаритными фонарями и сдал влево, BMW быстро протиснулся между синим брезентом и цепочкой пыльных «жигулей», в которую случайно затесались два одинаковых чёрных джипа с тонированными стёклами.

— Пошли! — скомандовал он. — И раз!

Девушка прибавила газу, и BMW поравнялся с первым чёрным джипом, в открытых окнах которого колыхались кремовые занавески.

— Два! — сказал он, всаживая пулю в затылок водителю джипа.

Большую машину тотчас занесло поперёк дороги.

Шедший за ним «жигулёнок» резко затормозил, а огромный фургон вдруг вильнул и протаранил второй чёрный джип с такой силой, что машина вылетела на обочину и перевернулась набок.

— Три! — сказал он и, когда BMW пошла задним ходом, открыл огонь по лобовому стеклу «жигулёнка».

— Четыре!

Девушка резко затормозила и выхватила свой пистолет.

Заменив обойму, он выскочил из машины, подбежал к «жигулёнку» и, чуть нагнувшись вперёд, выпустил очередь в салон.

Девушка издали выстрелила в людей, выбиравшихся из перевёрнутого джипа.

Пригибаясь, мужчина бросился назад.

— Пять! — крикнул он, впрыгивая в машину. — Там ребёнок!

— Не может быть! — Она выжала спускение. — Никаких детей!

Он на коленях прополз назад и через открытое заднее боковое стекло разрядил ещё одну обойму — очередью — в бежавших к «жигулёнку» охранников.

Она лихо подрезала рефрижератор, медленно разворачивавшийся на развязке, и их машина буквально взлетела наверх, развернулась налево и на всей скорости помчалась в сторону центра.

— Куда?

Он молча ткнул пальцем в направлении пустыря, поросшего кустарником и вразброс заставленного гаражами.

Она притормозила.

— Чуть дальше, — сказал он. — Метров сто — сто двадцать... сюда...

Сбросив скорость, она осторожно свернула направо и медленно повела машину по грязевой неровной дороге с подсохшими лужами в выбоинах и пыльными кустами по сторонам. На выезде из зарослей он кивнул. Машина встала.

Метрах в десяти-пятнадцати впереди виднелись углы и крыши гаражей, а здесь, на вытоптанной и выжженной солнцем полянке, среди обломков кирпичей и следов от костищ, в жидкой тени ободранной и изуродованной шелковицы, стояла только большая металлическая бочка с крышкой, снабжённой замками-ручками.

— Мы на месте, — сказал он, надевая туфли. — Откуда взялся ребёнок?

— Этого не может быть, — сказала она, доставая из карманов жилета конверт и мобильный телефон. — Не должно быть. Я ничего об этом не знала, честное слово.

Двумя пальцами извлекла из нагрудного кармана маленько зеркальце и, глядя на своё отражение, повторила:

— Честное слово.

Он мягко взял у неё зеркальце, посмотрел, вернул.

— Мне пришлось убить всех. — Он вылез из машины и потянулся. — Мужчин и ребёнка. У малыша голова разлетелась в куски. Он был одет в какой-то костюмчик... похож на маскарадный... Я даже не успел разглядеть, мальчик это был или девочка.

Она протянула ему конверт.

— Здесь карточка и пин-код. — Набрала номер на трубке и проговорила, не спуская взгляда с него: — Всё в порядке. Да, всё у него. Но возникли непредвиденные обстоятельства... да, до встречи...

Выключив телефон, она сняла очки и протянула ему руку.

— Это действительно непредвиденное обстоятельство. Прощайте. Дорогу найдёте?

— Минутку, — сказал он. — Помогите мне открыть бочку. Не таскать же мне всё это добро в сумке.

— Извините. — Она снова надела очки. — Конечно. И кстати, вы обещали рассказать, как узнали моё настоящее имя.

С усилием подняв вверх три рукоятки, они сняли крышку с бочки, наполненной — но не доверху — ярко-жёлтой краской. Содержимое сумки — пистолет, обоймы, гильзы — он высыпал в бочку.

— Машину не хотите проверить, Анютя?

— Конечно, — уже смущённо сказала она. — Спасибо.

Они тщательно обследовали машину, но нашли только одну гильзу. Она заметила, как он быстро провёл рукой под панелью, и насторожилась.

— Скажите своим профессиям, — проговорил он с нескрываемым удовлетворением, — что иногда выходящие на задание машины полезно снабжать радиомаяками.

— А зачем? — Она вылезла из машины и бросила гильзу в бочку.

Промахнулась. Пришлось искать гильзу в траве.

— У меня же телефон... — Она обернулась к нему. — Что за глупости!

Держа пистолет в левой руке, он вытащил у неё из кармана телефон и бросил в бочку.

— Теперь, пожалуйста, разделитесь, — деловито приказал он. — И не тяните — времени мало.

— Но вы же понимаете, что...

Он вздохнул.

— Пока я буду говорить, вы раздевайтесь, пожалуйста. Дневной запас слов у женщины превышает двенадцать тысяч. У мужчины — не более двух с половиной тысяч. Так что я в заведомо проигрышном положении. Бюстгальтер и трусики тоже. Амулет можете оставить. Не хотите же вы сейчас истратить весь свой дневной лексический запас? У вас менструация?

— Тоже снять?

— Нет, это даже к лучшему: краска не сразу попадёт в органы малого таза.

— Краска? — Она сняла очки — руки её дрожали. — Вы маньяк.

— Вещи и очки туда же. Ну же!

Она неловко вскарабкалась на край бочки, спустила ноги внутрь. Наконец спрыгнула. Бочка слегка покачнулась.

— Присядьте.

Голова её скрылась в бочке.

— Спасибо. — Не выпуская пистолета из левой руки, он подхватил правой крышку и ребром поставил её на борт бочки. — А вы сентиментальны. Что ж, у хорошего командира все подчинённые должны быть чуточку сентиментальны: таких легче посыпать на бессмыслицу смерть.

Девушка вдруг встала. Тело её до подбородка было покрыто ровным слоем ярко-жёлтой краски.

— Это за ребёнка? — спросила она севшим до хрипоты голосом. — Я ничего не знала... и вы просто случайно угадали мое имя...

— Ваше тело очень красиво, особенно желтая грудь. Это масляная краска, готовая к употреблению. В ацетоновой вы задохнулись бы через несколько минут.

— Вы меня сожжете в этой бочке?

— Нет, — сказал он. — Вам пора.

Девушка скрылась в бочке.

Мужчина опустил крышку, щелкнул замками, толкнул бочку ногой, сел в машину и уехал.

На перекрестке у кинотеатра «Орбита» он дважды повернулся налево, через двадцать минут вернулся на пустырь, вытащил из бочки девушку, которая была без сознания, уложил её на заднее сиденье и вдавил в пол педаль газа.

Виктор Иванович Бородицкий купил дом за церковью Воскресения Господня, в котором поселился с молодой женой Анной. На вопрос о роде занятий Виктор Иванович ответил, что занимается переработкой мусора. На вид ему

было около сорока, а ей лет двадцать — двадцать пять. В Чудове у них не было ни знакомых, ни друзей.

Изредка Виктор Иванович уезжал по делам, но большую часть времени проводил с женой. Во время переписи населения выяснилось, что Анна не умеет ни читать, ни писать. Если с ней заговаривали, она терялась, краснела и лепетала что-то невразумительное, как малый ребёнок, плохо владеющий языком. Но она была очень хороша собой, всегда мило улыбалась и одевалась со вкусом. Особенно шёл ей жёлтый цвет — она обожала жёлтый.

По вечерам, даже в ненастье, они часами гуляли по городу, взявшись за руки. Виктор Иванович брал в библиотеке детские книги, которые, видимо, читал вслух неграмотной жене. Саша Мануйлов, менявший электропроводку в доме за церковью, был поражён обилием книг, принадлежащих хозяину: Достоевский, Кьеркегор, Шестов, Готорн, Монтень, Паскаль...

Однажды Анне потребовалась врачебная помощь. Ничего серьёзного, но её решил осмотреть главный врач, старый доктор Жерех, который при этом установил, что после перенесённой сложной хирургической операции женщина утратила способность к деторождению. Муж, конечно же, об этом знал.

Доктор Жерех не вызывал Бородицкого на откровенность и даже был удивлён, когда Виктор Иванович вдруг проговорил: «Знаете ли, иногда мне кажется, что любовь, даже любовь Бога к человеку, — это грех. Уж слишком она неразумна, необъяснима, абсурдна. Иногда мне кажется, что это настоящий ад, и находится он в самом горячем месте Господня сердца. Жить этим нельзя, но прожить без этого — невозможно».

Он говорил негромко, чётко выговаривая слова, идержанно при этом улыбаясь. На какое-то мгновение доктору Жереху показалось, что перед ним — самый настоящий безумец, сумасшедший, но он тотчас прогнал эту диковинную мысль. Виктор Иванович был красивым мужчиной с седыми висками и аккуратной щёточкой усов, тщательно выбритым и хорошо одетым, речь его была правильной, неторопливой, тембр голоса — приятным, а что до смысла, то доктору Жереху и не такое доводилось слышать от пациентов и их родственников. Ему захотелось было поддержать разговор и процитировать Апостола о любви, которая превыше всякого ума, но вместо этого он сказал:

— Вы могли бы взять ребёнка в детдоме.

— Детей убивают, доктор, — сказал Виктор Иванович. — Их убивают.

Доктор Жерех поднял бровь, но промолчал.

— Поедем-ка мы на лето в Черногорию, — сказал Виктор Иванович. — Купил по случаю домик в Будве, на берегу моря. Хорошо там.

Они сердечно попрощались.

Доктор стоял у окна, наблюдая за Виктором Ивановичем и его женой, которые пересекали площадь, направляясь к церкви. Весенний ветер трепал ярко-жёлтое платье, Анне приходилось придерживать подол рукой.

— Какая красивая пара, — сказала медсестра, неслышно подошедшая сзади.

— Красивая, — сказал доктор Жерех.

Мордина книга

Рассвет заставал старуху на площади, где она устраивалась с книгой на коленях на каменной скамейке у колодца. Отсюда ей всё было видно. Всё и всех. Вот толстая Малина открывает ресторан «Собака Павлова». Вот Четверяго в своих чудовищных сапогах полуголый верхом на страшном чёрном коне проезжает через площадь к больнице. Вот снизу от озера поднимается пожарная машина, поливающая по утрам из брандспойта Жидовскую улицу и площадь. Вот пьяница Люминий...

Старуха закуривала злую сигарету и со стоном закрывала глаза. За семьдесят семь лет ей до чёртиков надоело солнце, каждое утро встававшее на востоке и по вечерам садившееся где надо. Она не понимала, зачем живёт толстая Малина, почему Четверяго ездит полуголым верхом на чёрном коне даже зимой и что делает на этом свете она сама, Лиза Мордашова, ещё тридцать лет назад завесившая зеркало чёрной тряпкой, потому что оно не менялось вместе с нею.

Однажды зять подарил ей толстую линованную тетрадь и посоветовал записывать в ней про всё и про всех:

«Если уж вы поняли, что люди смертны, то почему бы вам не позаботиться о собственном бессмертии?»

Он служил учителем, днями пропадал в школе, а в сорок с небольшим умер от инфаркта, оставил вдову Нину с двумя детьми и брюхатую соседку Соню, которая после его смерти стала называть старуху Мордашову мамой. Остальные жители городка называли её Мордой.

Вот уже лет десять она почти не спала. По ночам бродила по городу, всматриваясь в

тёмные окна, словно пытаясь проникнуть в смысл чужих жизней, тащилась по Жидовской, вышагивала по узким переулкам за церковью, наконец поднималась к площади, вымощенной двадцатичетырёхфунтовыми пушечными ядрами, и останавливалась перед памятником Пушкину, сделанным из памятника Сталину.

Великий поэт стоял на высоком постаменте в бронзовых сапогах, простерев руку вдаль и держа на весу чугунный электрический фонарь, совершенно бесполезный, потому что он висел так высоко, что даже в хорошую погоду под ним нельзя было различить лицо встречного, — однако никому и в голову не приходило, что от этого тусклого светильника можно и нужно избавиться. В городке этот памятник называли Трансформатором — и во все не потому, что памятник Сталину трансформировали в памятник Пушкину, а потому, что Пушкин не знал слова «трансформатор», а Сталин знал. Считалось, что это было и всё, чем отличались эти властители душ, хотя зять говорил, что отличий больше и самое важное заключалось в том, что Пушкин любил деньги, а Сталин — нет.

Она опускалась на каменную скамейку, окружавшую горловину колодца, выкопанного в центре площади в незапамятные времена. Город располагался на острове, поэтому люди были уверены в том, что отыскать здесь воду проще простого, но воды в колодце не было, и последнего землекопа вытащили из шахты обугленным и мёртвым. Тогда-то и решили, что колодец достиг ада, и закрыли отверстие десятипудовой чугунной крышкой, чтобы черти не являлись ни с того ни с сего посетителям ресторана «Собака Павлова», окна которого смотрели на площадь. И только в канун Пасхи этот люк сдвигали, чтобы всем миром загнать в адов колодец чёрного пса сатану. Такой уж здесь был обычай. Городок был слишком стар, чтобы пренебрегать обычаями, поэтому испокон веку здесь пили самогон из чайника, боялись Мординой книги, старухи брили головы, шлюхи красили пятки хной, а солнце всходило на востоке и садилось где надо...

Зять, подаривший ей тетрадь, не объяснил, что и как нужно записывать про всё и всех. Морда просто всюду ходила с этой тетрадью под мышкой, чтобы в случае необходимости записать в неё что-то важное, что зять назвал бессмертием, которое, по его мнению, присутствовало в мире, но разглядеть, уловить его дано не всякому. Вот ему не удалось. Мож-

ет быть, и Морде не удастся. Ещё зять сказал, что записывать в тетрадь следует только факты, потому что мысли принадлежат людям, а вот факты — Богу. Но ведь не станешь же вписывать в книгу — так старуха называла свою тетрадь — такие факты, как восход солнца или Четверягу в его чудовищных сапогах и с его чёрным конём.

Старуха то и дело порывалась что-нибудь записать в свою книгу и открывала тетрадь, но всякий раз спохватывалась и убирала карандаш подальше. Чаще всего это случалось из-за детей, которые шумели, бегали, мельтешили и всячески мешали сосредоточиться.

«Цыц! — кричала Морда. — Угомонитесь, не то я вас в книгу запишу!»

И это действовало. Дети смущались, затихали и даже уходили подальше от непонятной книги.

Да и на взрослых это заклинание тоже, как выяснилось, производило впечатление. Даже на забубённого Люминия, который любил помочиться у колодца и орал при этом на всю площадь: «Отойди, а то оболью!», хотя поблизости никого, кроме Морды, не было.

«Вот я тебя в книгу запишу, — едва сдерживаясь, зашипела как-то Морда. — Вместе с твоим хреном поганым и дырявой башкой. И будет тебе суд по правде, а не по закону».

Люминий, гордившийся своим членом, потому что он у него был с ногтем и вызывал восхищение у женщин, тотчас застегнулся, и больше он посреди площади не безобразничал.

Люди, конечно, посмеивались над старухой и её книгой и в шутку грозили детям: «Смотри, хулиган, в Мордину книгу попадёшь!» Со временем все привыкли бояться книги. Мало ли что старуха в неё запишет. Мало ли куда потом эта книга попадёт. Может, к прокурору, а может, после её смерти каким-нибудь чудесным образом книга окажется на том свете, а это уже серьёзно. Хотя все знали, что ничего, кроме имён, в этой книге не было. Да и записывала старуха эти имена простым карандашом, так что стереть записи можно было обычновенной ученической резинкой.

«Не сотрёшь, — возражала Морда. — Проявятся. Потому что это не людские имена, а факты».

По вечерам она открывала свою книгу и читала вслух: «Иван Дербенев, Катя Скарлатина, Мишка Любавин, его жена Мотя, Титя и Митя...» И погружалась в глубокую задумчивость, размышляя об именах и о том, сколько эти имена будут весить на Последних Весах,

хотя и не знала, что́ это за весы и что именно на них будут взвешивать.

В «Собаке Павлова» лет сто стояли весы, на которых взвешивали свиные туши и невест, чтобы убедиться в их добротности, и однажды Малина, обвинённая в нечестности, взвесилась на них и потянула сто шестьдесят три кило и восемьсот граммов, что и записали на табличке над стойкой в подтверждение её честности. Ещё говорили, что понять, сколько человек весит на самом деле, лучше всего позволяет только виселица. Но на последнем Суде наверняка будут какие-то другие весы — настоящие, показывающие, сколько тянет душа, обременённая злом и всякими нечистыми помыслами.

Поэтому Морда и не стирала записи в своей книге, даже когда сгоряча занесла в неё имя одного из своих внуков.

«Что ж, терпи, — сказала она ему. — И знай, что ты здесь записан. В жизни это не поможет, но помешать чему-нибудь — может, и помешает».

Случалось, что отчаявшиеся родители посыпали ребёнка к Морде: «Ничего не подрешай, иди и своей рукой впиши себя в Мордину книгу». И плачущий ребёнок обречённо тащился в дом Морды, чтобы записать себя в её книгу.

А бывало, впрочем, что какой-нибудь лихой хулиган и без понуканий, из молодечества требовал: «А ну-ка впиши меня в свою книжицу!» И Морда молча вписывала, и молчание ее еще долго звенело в ушах даже у отчаянных хулиганов.

Со временем она стала иногда забывать свою книгу то в магазине на прилавке, то ещё где-нибудь, и потом удивлялась, обнаружив новую запись. Какого чёрта, к примеру, записалась в книгу Катерина Блин Четверяго — женщина, конечно, бурная и большая ругательница, но беззлобная и даже красивая?

«Кто-нибудь, блин, после смерти увидит моё имя и задумается, — объяснила Катерина, — может, кто-нибудь, блин, и поймёт, за-

чем я жила и кем я была на самом деле. Я-то, блин, так и не поняла. Да я ночь, блин, не спала, прежде чем решилась на это».

Старуха лишь качала головой: всё-таки она не считала свою книгу какой-нибудь там скрижалю или книгой всея Руси, как выражалась её зять, похлопывая рукой по обложке «Трёх мушкетёров». Для неё эта тетрадь с зелёной обложкой была всего-навсего отдушиной, чем-то вроде таблетки от головной боли, и не её вина, что люди стали относиться к этой тетради как к книге судеб, хотя старуха их предупреждала: «В этой книге только правда остаётся, а правда и добро у Бога на разных весах».

Иной раз, открывая тетрадь, Морда не могла вспомнить, почему то или иное имя занесено на бумагу. «Ничего, — утешала её дочь, — тебе и незачем всё помнить — на то Бог есть». Дочь, впрочем, относилась к этой книге легко, считая, что старуха давно впала в детство, а чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Книга и была такой потехой, спасавшей старую женщину от греха уныния.

Незадолго до кончины Морда вписала на конец в книгу и себя. Её обнаружили рано утром на площади. Она лежала у колодца, обратив лицо к бесполезному фонарю в руке Трансформатора, который светил даже при свете солнца.

А после похорон тетрадь куда-то запропастилась. Подозревали, что виновата в этом была её дочь Нина, то ли по небрежности, то ли из равнодушия забросившая Мордину книгу в какой-нибудь тёмный угол.

«Да на кой вам чёрт эта книга сдалась? — расхохоталась Нина. — Не наигрались ёщё?»

Люди не стали с нею спорить. Они собрали по подписке деньги — по копеечке с носа — и купили новую тетрадь, которую доверили Малине. Она держала её в ящичке, где когда-то валялась книга жалоб, а поскольку «Собака Павлова» не засиралась даже ночью, всяк мог сделать запись в новой Мординой книге. Карандаши Малина покупала на свои.

Юрий Буйда родился в 1954 г. в посёлке Знаменск Калининградской области. Окончил филфак Калининградского университета. Работал в журналах «Новое время», «Знамя», в «Российской газете», «Независимой газете», «Известиях», газете «Коммерсантъ». Автор книг «Дон Домино», «Прусская невеста», «Ермо», «Третье сердце», «Жунгли», «Синяя кровь», выходивших в России и за рубежом.



Ганна Шевченко

Капсула Блока

Мне в детстве было многое дано

Мне в детстве было многое дано:
тетрадь, фломастер, твёрдая подушка,
большая спальня, низкое окно,
донецкий воздух, угольная стружка.

Когда на подоконнике сидишь,
то терриконы сказочней и ближе,
мне нравилась базальтовая тишина
и мёртвый флюгер на соседней крыше.

А за полночь, сквозь шорох ковыляя,
сквозь марево компрессорного воя,
подслушивать, как вертится Земля,
вращая шестерёнками забоя.

Капсула Блока

Вот мое тело, важный, простой белок
едет через таможню, а за окном всё то же:
ночь, привокзальный морок, улица и фонарь,
медленный пограничник в белой рубашке,
боже,
вот моя сумка, я трепещу как тварь,
вдруг обнаружит, что у меня под кожей
спрятан в коробке сам Александр Блок,
спит, как щенок, прихлопнув себя рогожей.

Уйди, пограничник, я ещё молода,
если не веришь, я перекрашу имя,
капсула Блока действует на меня,
я начинаю путаться в псевдониме.

Знай, пограничник, вся моя болтовня
будет короткой, как выброс адреналина,
будет подземной, выгурной, как вода
с запахом севера, с привкусом украины.

* * *

Спит, обнимая костиль,
старая алкоголичка,
воздух вокзальный остыл,
в пригород мчат электрички.

Бабушка дремлет, как йог,
лёжа на грязных ступеньках,
рядом газетный ларьёк,
светится глянцем Баенга.

Бабка в проходе лежит,
рядом — консервная банка,
тряпкой вершит выражи
тощая азербайджанка.

Что ей поток укоризн,
что ей вокзальное ложе?
Тёти, подайте на жизнь.
Дяди, подайте, кто может.

Гостья из будущего

Алиса, ты меня помнишь, мы лежали
с тобой вдвоём
в больнице. Ты помнишь? Я — Юля,
Грибкова Юля.
Алиса, ты меня слышишь, ответь мне,
приём, приём!

Мы тут все в шоке. Нас, кажется, обманули.
Вы обещали, что Мила станет врачом,
а она торгует, держит точку на «Черкизоне»,
Фима бухает, Герасимов стал бичом,
я растолстела, Сулима сидит на зоне.
Что у вас там случилось? Вы проиграли

войну?

Спаси, сохрани нас, Господи, Твоя воля.
Пираты сбежали или ещё в плена?
Ведь им ничего не сказал истерзанный
мальчик Коля.

Алиса, ты меня слышишь, ответь мне,
приём, приём!
Наш мир завоевали Крысы с Весельчаками.
Но мы ещё терпим, мы дышим, живём
и ждём,
что скрипнет белая дверь в заброшенном доме
с высокими потолками.

Как жаль

Холодный день, окраина Подольска,
в окне стоит природа, как живая,
морозно, но еще не скользко,
я этот день хорошим называю.

Я этот день предвидела когда-то,
я говорила: ветки опустеют,
мне кажется, я называла дату,
мне кажется, что я гордилась ею,

вот этой датой, названной кожей,
предчувствованной снами и кровями,
что я однажды закричу: о боже,
все небо заштриховано ветвями!

И стану звать с какой-то дикой жаждой
под слоем неба спрятанное солнце.
Как жаль, что день закончится однажды,
как жаль, что ночь когда-нибудь начнётся.

Негромко

Как день неподвижен, как воздух летуч,
окно живописнее фрески,
окрашено небо подборкою туч,
но тянутся вниз занавески.

Два стула, комод, телевизор, кровать,
гибискус, растущий наклонно, —
мне в комнате этой дано проживать
негромко и уединённо.

В окне проплывают небес лоскуты,
синица скользит по карнизу,
так хочется лёгкости и чистоты,
но небо испачкано снизу.

* * *

Просыпаемся рано, детей одеваем,
на бегу выпиваем свой утренний чай,
из подъезда выходим, в перчатку зевая,
мой хороший ребёнок, не озорничай.

Вот Серёжина мама, вот Катина мама,
вот Макар завершает детей череду,
показалась Кариничка между домами,
не реви, я сегодня пораньше приду.

В полвосьмого темно. Освещают дорогу
фонари, им привычен наш утренний бег,
и ложатся, помалу рождая тревогу,
скоротечные тени на выпавший снег.

Мы идём под прицелом бесшумной винтовки,
нас ведёт через темень небесный спецназ.
И становится страшно, досадно, неловко,
почему-то становится жалко всех нас.

Пин-код

В банке сказали: возьмёте монету —
сильно не трите, водите легко,
там под полоскою серого цвета
вы обнаружите новый пин-код.

Вышла из банка. На детских качелях
мальчик качался, скрипели болты,
рядом в «Харчевне» чиновники ели,
тёрли салфетками жирные рты.

Птицы летели, собаки бежали,
дворники мётлами землю скребли.
Вписаны эти мгновенья в скрижали
или же в ливневый сток утекли?
Город как город. Сроднился с планетой.
Город-инфекция. Город-налёт.
Если стереть его крупной монетой,
Взгляду откроется новый пин-код.

* * *

Декабрь прорастает между крыш,
пронзает город белыми стеблями.
Смотрю в окно — качается камыш,
стучит в дома своими хрустальными.

Из корневищ рождается мука,
ползёт к дороге через остановку,
как будто незаметная рука
раскладывает рыхлую циновку.

И миллион нечищенных сапог
её исходят тёмной чередою,
терпи, зима, недолгим будет срок,
весной ты станешь быстрою водою.

Про Валеру

Валера живёт возле мусорных баков,
копается в хламе, как кладоискатель,
живущая рядом большая собака
его понимает, как добрый приятель.

Валера безумен. Ведёт диалоги
то с тополем старым, то с новым забором,
то с мышью в своей деревянной берлоге.
Я слышу его обращенье, в котором

Валера на чай приглашает соседа:
«Я чайник поставил, нажарил картошки,
тепло в моём доме, проведайте деда,
зайдите ко мне, поболтаем немножко».

И стонет, и воет, и плачет как будто,
и словно рукой раздвигает портьеры,
и пальцем елозит по векам надутым.
Зайду на минутку, тепло у Валеры.

Стеклодув

Как-то огонь разжёг
опытный стекловар,
дунул в стеклянный шёлк,
и получился шар.

Катимся колобки,
прыгаем на ходу,
это не по-людски,
дедушка-стеклодув.

Брызжет слюной лиса,
волк разевает пасть,
в этих глухих лесах
как бы нам не пропасть.

Мы от тебя ушли —
песни хотели петь,
но на полях Земли
нас ожидает смерть.

Сети паучьей нить,
вязкая грязь болот —
как же нам сохранить
хрупкую нашу плоть.

Видишь ли, знаешь ли,
ты, наполняя нас,
как по ночам болит
твой углекислый газ.

Баркарола

Густеют сады дискотечных шаров,
струится с небес баркарола,
чтоб бросилась армия спелых даров
в целинное поле танцпола.

С пыльцой вперемешку, с листвой во главе
рассыпан вселенский порядок.
А мимо за водкой идёт человек,
и день по-осеннему краток.

* * *

Всё будет хорошо,
пока ещё мы живы,
пока горит блесна
от тяжести наживы,
пока течёт река,
пока не рвутся сети,
пока несёт рыбак
Вселенную в пакете,
пока горчит икра
крупицами сомнений,
пока готовит мать
уху по воскресеньям,
пока не тает свет
за шторою кухонной,
пока не умер Бог
за маленькой иконой.

Ганна Шевченко родилась в городе Енакиево Донецкой области.

Пишет стихи, прозу, пьесы, критические статьи. Публиковалась в литературных журналах «Арион», «Дружба народов», «Журнал Поэтов», «Занзибер», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Новая Юность», «Октябрь», «Сибирские огни», в «Литературной газете», а также в сборниках и антологиях поэзии и короткой прозы. Автор книги короткой прозы «Подъемные краны» (2009) и книги стихотворений «Домохозяйкин блюз» (2012). Лауреат международного драматургического конкурса «Свободный театр» в номинации «Экспериментальный текст для театра» (пьеса «Утюг»). Член Союза писателей Москвы. Живет в Подмосковье.



Александр Цуканов

Старатель

Витаю в пространстве между Магаданом и Волгоградом... Сочиняю письмо начальнику магаданского управления МВД. Отклонили запрос. Мой отец в пятидесятых годах работал на руднике имени Белова. Единственная зацепка. А мне который год одно и тоже: «Низзя! Шаг влево, шаг вправо...» Требуют документально подтвердить родство с отцом! А как? Мать сбежала на Колыму, потому что якобы муж тиранил и развода ей не давал. Я видел Цуканова лишь однажды в Уфе. Родный мужчина с красивым седым зачёсом, и даже лицо рыбое, в осинах, как у Сталина. Только ростом много выше, тушистее, и овал лица мордовско-чувашский. Теперь уже он добивался развода — официального. Мама, как я понял, ему отказалась. Назло. Так и осталась с чужой и странной фамилией до самой смерти. Как и я, который знал отца только по фотографиям. А мозгило, рвалось наружу, кто такой Николай Кубрин, написавший на обороте фотографии 28 июня 1956 года: «На память сыну от непутёвого отца. Помни сыночка».

Шестнадцать лет на Колыме, где в ту пору год зачитывался за два, как будто у человека две жизни. Одна — непутёвая — сейчас, а правильная позже. По размерам Золотая Тенька — как крупное государство, а жителей тридцать тысяч. Да полтора десятка посёлков. Среди них имени Белова, когда-то приличный рудник и посёлок по меркам Колымы, но враз захиревший, выбитый напрочь торопливыми горнорудными разработками. Здесь в лагер-

ном фельдшерском пункте на склоне сопки когда-то бедовал Варлам Шаламов...

Мы с мамой живём в маленькой комнатке с маленьким окном, которое зимой обрастаёт наледью толщиной в два-три пальца. Она работает посменно в насосной станции за 76 рублей в месяц, что её тяготит и унижает, а я хожу в школу привычно и весело, потому что знаю только баражный быт, только сопки и купанье в ручье Безымянном, берущем начало в распадке, где даже в июле лежат двухметровые глыбы льда, изрезанные вдоль и поперёк талыми водами.

Мир зажат сопками. Одна, с покатым западным склоном, поросла стланником и карликовыми берёzkами. Здесь мы строим шалаши, воюем на палках, курим потаясь «Герцеговину Флор». Папиросы манят названием, картонной коробкой с белоснежной мягкой проложкой внутри, а главное, форсом, когда можно с посвистом дунуть в длинный бумажный мундштук, смыть его в три приёма и, клоня голову вправо, — прикурить смачно, по-взрослому, пуская дым то ртом, то сквозь ноздри. Приятель авторитетно наставляет, что «герцеговина» даже слаше «казбека», а я лишь киваю, стараюсь в глаза ему не смотреть. Мне горько и тошно при каждой осторожной потяжке. Даже начинает душить кашель, но я терплю. Улыбаюсь сквозь слёзы.

Другая сопка, что позади посёлка, — крутая, вся в каменистых осыпях. Осенью загорается от ярко-красной брусличной спелости.

Мы рвём ее здесь всей школой, всем посёлком, тарим в вёдра и фанерные бочки из-под сухого молока, а она всё не кончается. Есть ещё одна приземистая сопка справа от ГОКа. Там в дальнем закрытом от ветров распадке хорошая крупная стланниковая шишкаЯ и бурая смородина. Туда нам ходить запрещают, а особенно лазить по старым шахтным выработкам и проходческим шурфам. Но мы лазим. Лазим по пугающе огромным этажам старого рудника, сложенного из огромных бетонных блоков зеками в сороковых. Здание в несколько этажей напоминает нам крепость, замок, дворец дракона, но никак не фабрику, где принимали, дробили, промывали руду и палили из карабинов по людям. Пополняли золотой запас страны.

Золото всюду. В разговорах отцов и матерей, в газетах, в глазах, в приговорах судов.

Первый раз я работал на золоте в начале шестидесятых. Мать взяли поваром в рудничную геологоразведку на весь сезон. Ей было тогда сорок шесть, а мне только девять. Но я большой парень, по общему мнению всех, кроме геолога, который любит поучать старателей, а особенно меня. Но я казак вольный. Я привязал к палке стальную вилку и бью ею, как острогой, вертлявых мелких усачей. Мечтаю взять хариуса, а он, похоже, в наш Безымянный ручей не заходит. Далеко не забегаю. На мне вода и костёр. Большие серёзные дядьки хвалят каждый раз вечером, когда черпают из бочки горячую воду для умывания, особенно бульдозерист Володька, улыбчивый, озорной парень с наколками на груди и руках. В его словах много мутти, как в ручье после паводка: «Неси, Сашок, шлюмки. Развода сёдня не будет, бугром буду я».

Ему не перечат. Изредка только инженер-геолог, да и то с опасливой выдержанкой. Бульдозер тут всё: сердце, мускулы и бесконечный гул жизни, который разносится по огромной долине с редким лиственничным редколесьем, распутывая наглых медведей и прочую живность. «Росомаха весной двух собак порвала в клочья», — вспоминает за ужином старатель Щебрин в какой уж раз и смотрит на меня пристально. Пугает. А чё пугать-то? В больнице на Тракторном я сам мужика видел, которому косолапый скользп содрал в один мах. Сыпал, как он жалился: «Руку вон перекусил, словно кость куриную».

Мне бы ружьё! Как у геолога. Просил прошлый раз стрельнуть по банке, а он говорит — «отдача большая». Ружьё есть у Володьки. Висит прямо в кабине бульдозера. «Тулочка»,

как он говорит. «Жаканом на шестьдесят шагов стальную бочку навылет». Но ему стрелять по банкам некогда. Даже в дни переездов, когда все отдыхают, разместясь в балке или на волокуше, он в кабине за рычагами своей «сотки». Раз она как-то заглохла, старатели всполошились. Ходили кругами: «Ну, чего там, Володь? Может, помочь...» А он тёр ветошью промазущенные ладони и страшал: «Пиндец вам, мужики!»

— Походной колонной по двое разберись! Ты, Щебрин, за вохровца будешь. Веди на Транспортный. Тут недалече, пёхом двадцать пять вёрст.

И не понять было, всерьёз он это или в шутку. Даже ужинать не пришёл. Ночь июльская коротка, закат с восходом срастаются. Геолог сидит у костра. Переживает. Разведка разведкой, а план по золоту никто не отменял. «Хорошо шли, до ста граммов в сутки снимали, а теперь вот пиндец».

Работа, как в старательской артели: вверху грохот — металлический ящик, внизу проходнушка — длинный деревянный ящик, вдоль него маты резиновые. Вечером съём, взвешивание, составление Акта. Три подписи. И так шаг за шагом вдоль русла ручья, что впадает где-то там далеко, за трассой Магадан — Сусуман, в реку Омчук.

Однажды старатель Иван — молчаливый и страшный из-за своей густой бороды — дал мне в руки лоток с песком после съёма. «Нака, пацан...» И я, подражая ему, стал осторожно крутить и вертеть в стоячей воде лоток-лодочку. А он, навалясь сбоку, поправлял: «Шибче крути, шибче». Геолог — начальник партии, совсем молодой и поэтому очень правильный, строгий, — укорил. Лоток с непротмытым шлихом отобрал. Сломал песенку.

Мать в тот год хорошо заработала и впервые положила деньги на сберкнижку, на отпуск.

Полгода потом мы колесили по стране: Магадан — Уфа — Кисловодск — Ленинград — Магадан. «Надо же, почти тыщу профукали! — удивлялась уфимская бабушка. — Нам дом-то всего в девятьсот обошёлся». А я радовался и пытался ей объяснить, что урюк — это абрикосы, которые растут на деревьях, про гору Машук и многое другое, что мне тогда казалось важным-преважным. Она угощала малиновым вареньем и рассказывала, какие озорники Венёкины внуки. Медали дедовы в колодец бросают. Спрашиваю: зачем? Глубину измеряем — старшой говорит. Младший рядом пыхтит. Бабкой-ёжкой меня обозвал.

А мать восторженно всем рассказывала, что хуже кролика всю зелень на огороде в июне поела. «И ботву, и укроп, и одуванчики... И в салате, и в супе, ела и ела».

Дед всё больше молчал. «Что, Надя, обратно на Колыму?» Спросил лишь однажды, словно можно было придумать что-то другое.

Рассказы про золото его не интересовали, на это он имел свои неоспоримые резоны, о них я в ту пору не знал, не подозревал. Это был семейный «скелет в шкафу». Табу. Одно из доказательств мировой всесильности золота, погубившего не только мою прабабку, отдельных людей, но и целые государства и народы.

В тот год я копил на ружьё, потому что пацан на Колыме должен иметь хотя бы плохенькую одностволку шестнадцатого калибра с тугим спусковым курком. Я же грезил двустволкой. Меня научил сосед Петя, любивший под дегтярный чаёк рассказать про охоту. И я ему верил и пацанам пояснял, что в правом стволе всегда жакан на крупного зверя, а в левом — он кучнее бьёт — дробь по сезону. Осенью «нулёвочка» на утку, зимой тройка-четвёрка на куропаток.

Копил я на завтраках, откладывая по пятнадцать-двадцать копеек, да и то не каждый день, потому что запах булки с повидлом, которую жуёт сосед по парте, забивает дыхание жаркой слюной. Миг, и ты неизвестно как, почему-то, стоишь перед буфетчицей, сквердно перебирая гривенники и пятаки. А она не торопит, ласково смотрит. С чем?.. «И компот», — говорю почти шёпотом, не в силах перебороть искушение.

К весне набралось шесть рублей. А надо было сорок три. Изредка выпадала удача, когда после получки приходил подвыпивший отчим и мы с его дочерью Тонькой в потёмках шарили по карманам, сгребая всю мелочь. Бумажки не брали, такой был уговор. Зимой подарили три билета спортивной олимпийской лотереи. Я на стену повесил самодельный календарь и отмечал дни до начала розыгрыша. Я был уверен, что пусть не машину, но денежный приз выиграю непременно.

Мне было двенадцать, когда первый раз приятели позвали мыть золото. У нас было всё, как у взрослых больших мужиков. Совковые лопаты, аккуратная проходнушка, грохот, вёдра и даже лоток. Мы поначалу старались, но рядом вдруг появлялся бурундук, или кусок кварца, похожий на самородок, или пробивался по склону ручей и начинал падать

водопадом на вскрытый бульдозерами склон сопки, завлекая брызгами, лучистой энергией солнца. Его требовалось срочно перегородить, затем поспорить задиристо, где лучше брать грунт. Мы прыгали с места на место, рыли в отвалах и под склоном сопки. Мы очень старались и на второй день и на пятый, но бляшки золота почему-то плохо оседали в нашем лотке. Отец Кольки Ветрова доработал собранный шлих и сдал в золотоприёмную кассу. Вышло на семь рублей двадцать копеек. Три рубля он забрал себе — «на бутылку», остальное отдал нам.

На следующий день приятели собирались на аммоналку, собирать обрезки бикфордова шнуря, которые оставались там после взрывников. Занятие увлекательное, особенно если удастся срастить несколько кусков, а на конце приладить банку с глицериновой смесью... Но я не пошёл. Сидел на припёке, грел коленки. Подошёл Банщик — низкорослый, тщедушный дядька, носивший даже в летнюю пору ватный треух (написал было «на голове», словно он мог носить его на другом месте). Мы поздоровались. Точнее — я, а он лишь булькнул неразборчиво что-то. По субботам отчим водил в котельную прогреться в душе, и Банщик, угрюмовато-печальный, каждый раз говорил: «Никола, побачь, шоб не дурыл хлопец».

Одни говорили, что кучером был у Бандери в четырнадцать лет, другие, что возил только «матку Параску», жену командира, но получил Банщик по полной — «двадцать пять и пять по рогам».

— Ну и шо, трохи намыли?

Он, похоже, видел из окна в котельной, как мы таскались с инструментом. Я скрипился, я даже ничего не ответил. И его предложение вместе мыть золото воспринял как шутку. А он всё буровил на хохляцком своём языке, что знает «гарно место».

Отчим похвалил. Мать сказала — никуда не пойдёшь! Но я ушёл потаясь ранним утром, ушёл мыть золото с Банщиком в глухом месте, где мне грезился старательский фарт и самородок в полкулака.

Самородок был, но один, грязно-жёлтый, похожий на осу. Он попался в первый же день. Я понянчил его в ладони и отдал Банщику. У меня не было сил удивляться. Перед обедом я ещё покрикивал на напарника, когда он вставал передохнуть с полными вёдрами каменистого грунта. К вечеру же хотел упасть прямо на куст голубичника, не обращая внимания на назойливых комаров. А Банщик, этот

упрямый хохол, всё валил и валил в железный ящик породу.

Через день, отдежурив в котельной, он снова тихонько постучал в маленькое оконце моей комнаты, переделанной отчимом из сарая-курятника. Божьим предназначением это не назовёшь, это скорее бог шельму метит, потому что через шесть лет я уже своими руками переделал дедов сарая-курятника под свою комнату, чтобы водить туда глупых девушек, готовых по-кошачи спать где угодно и с кем угодно, о чём я тогда помыслить не мог. Я грезил золотом и ружьём.

Мыли через день, в прижиме у сопки, где легко устанавливался пробутор под проточную воду, стекавшую по склону из отогретой на солнце земли. В обед неизменно запаривали в котелке банку говяжьей тушенки. Свиную Банщик не признавал. Варили чай с брусничным листом. Однажды он стал умываться, и треух свалился с его головы. Бугристые сизо-красные и белые шрамы чередовались с клочками чёрно-сивых волос. Он привычно напялил треух, глянул на меня вполглаза и ничего не сказал. А я не спросил, перехотел. Я уже стал лениться. Самородков не попадалось. А мыть грунт, где на тонну всего-то семь граммов золота, было скучно и тяжело.

За ужином отчим невзначай бросил, что к Хвощёвым приходили с обыском мужики в штатском. «Даже половицы и плинтуса вскрыли».

— Сосунок. Я с Нинкой, его матерью, говорила. Не мог он сам утаить столько золота, кто-то подбил, уговорил перевезти.

— Дудки! Сам. Уголовники самолётом не возят, там рентген. Они знают. Они возят из Нагаево пароходами. В порту слабее контроль.

— Что же теперь с Васечкой-то будет?

— Не скули. Знал, на что шёл. Теперь помажут лоб зелёной. Указ Верховного суда напечатают в «Магаданской правде». А Нинку даже на похороны не позовут. Как пить дать — не позовут.

Мы с Тонькой молчали. Я пару раз заходил к Хвощёвым, когда мать посыпала. Кажд-

ый раз тётя Нина угождала брусничным морсом. У неё он получался вкуснее маминого, и наливала она его из красивого стеклянного кувшина, приговаривая: «Пей, Сашечка, пей, сил набирайся».

А Тоньке нравился Вася Хвощёв. Сама призналась. На моё: так он на десять лет старше! — она ответила — дурак! Нравится — и всё.

Старательские работы прервал пожар. Шёл он с запада из Якутии. Гнал на нас дымное марево, застилавшее солнце. Людей собирали по разнарядке со всех посёлков. Забрали одного из котельной, лишили Банщика отсыпного дня.

Банщик сам отмыл, отжарил-отпарил в кислоте добытый шлих, довёл до нужной кондиции (мне даже пестиком постучать не доверил) и сдал в золотоприёмную кассу. В эту отдельно стоящую избушку возле техсклада, где постоянно дежурил вохровец в чёрной шерстяной форме с зелёными петлицами и погонами.

Вечером Банщик окликнул на улице, сунул в руку потный свёрток с деньгами — две-надцать рублей.

Я домой зайцем помчался. Вывалил на стол перед матерью, думал, обрадуется. А она заругалась, про «бандеровцев» вспомнила. И ещё всяко-разно, как выкрикивали многие в колымских посёлках, считая себя лучше других. Оказывается, ей знакомая тётка — она дежурила на приёмке золота — рассказала, что Банщик сдал полсотни граммов и деньги получил полностью по тарифу — 96 копеек за грамм.

— Ещё раз уйдешь с ним — выпорю!

Дым от пожаров рассеялся. Я подолгу сидел на сосновом чурбаке возле дома, ждал, что снова подойдёт Банщик, скажет простецки про фартовое место, где можно намыть не то что пятьдесят, а сто или двести граммов золота...

Пишу письмо в МВД, витаю зачем-то между Волгоградом и Магаданом. По деду Малювин, по отцу Кубрин, с фамилией Цуканов, какой-то непонятной, как многое и многие, да и сама жизнь в нашей бедовой стране.

Александр Цуканов родился в 1954 г. на Колыме. В 1987 г. окончил Литинститут. Выпустил несколько книг прозы: «Тризна по неудачнику» (1988), «Расстрел в Новочеркасске» (1991), «Раб» (1998), «Бесконечное путешествие» (2004), «Жив, всё отлично!» (2010). Печатался в журналах «Волга», «Дальний Восток», «Отчий край». Работает в Волгограде директором издательства.



Ирина Легонькова

В горсти у моря

* * *

В возрасте нежном, наивном и млечном,
Я говорила на птичьем, беспечном,
Певчем — *своём* — языке.
Ну а теперь говорю на всеобщем.
Долго брожу по распадкам и рощам,
Жду на прибрежном песке.

Сыро и гулко в дворовом колодце.
Сирой пичуге допеть не придётся
Скомканный ветром пассаж.
Вновь поперхнусь недосказанным словом.
Боль, встрепенувшись, уляжется снова,
Серым окрасив пейзаж.

Клёнов моих потускневшие листья
В воздухе стылом безвольно повисли —
Даже не дрогнут в ответ.
Не говори мне, что скоро метели, —
Мы и без снега уже поседели
От неудач и побед.

Утро ноябрьское. Холод разлуки.
Медленно вспомню забытые звуки,
Выдохну — ляжет строка.
На разлинованной белой бумаге
Выглядят буквы как нотные знаки —
Звуки *того* языка.

* * *

Пути судьбы воистину кривые —
уже полсуток льёт, как из ведра.
И смотрим мы, как струи дождевые
стекают наземь с нашего шатра.

Вот так, должно быть, греческий чиновник
глядел когда-то, много лет назад,
как виноградник, фиги и тутовник,
дождём отмыты, лаково блестят.
Рассеянно отщипывал от грозди
по ягоде и запивал вином,
досадуя, что не приедут гости.

И дух мясной витал над казаном
у скифского кочевника в чертоге.
Точил со скуки воин акинак.

А по набухшей влагою дороге
тащил Христа учение монах.

Сменялись боги, изменялись нравы,
но память сохранилась у земли.
И сотни лет, спокойных и кровавых,
Кермеками и мальвой поросли.

«OFF»

Два голубя на капители коринфской, видимо, колонны,
воздвигнутой во время оно, глядят в пространство ноября.
И листья, что не облетели, фильтруют свет потусторонний,
теплу последнему ладони подставив, с ветром говоря.

И по развалинам, точнее, руинам древним Херсонеса
без показного интереса мы бродим, греясь коньяком.
От ветра тихо коченея, мы курим, трогая руками
веками слаженные камни. И тонут в ропоте морском

весь многотомник покаяний, все стоны, шёпоты, ремарки...
А Мойры намечают в парке свой план по выручке дневной.
Вот ноутбук включил Павсаний. И стронуть жизни зависанье
возможно лишь одним касаньем, нажатьем клавиши одной.

Старое фото

Вот это — море, а вот это — мы.
Обнажены, ленивы, живы, счастливы
и не обожжены пока нечастыми
касаньями той гибельной зимы,
в которой комья мёрзлые земли,
и страх, и боль, и сумрак одиночества.
А здесь мы — только имена и отчества —
Когда-то там, в немыслимой дали.
Не тяготясь жарой и наготой,
Мы молоды, так безнадёжно молоды...
И море дышит зноем, а не холодом.
Пока ещё не нами обжитой
блистаёт мир, не ведающий тьмы.
Иллюзии не все ещё развенчаны.
И мы лежим — нагие и беспечные.
Вот это — море. А вот это — мы...

* * *

Забыты все этюды Черни.
Бессонница. Гидроперит...
И никогда из мглы вечерней
ей прошлое не говорит.

Все фа-диезы, си-бемоли
умолкли, сгинули вдали.
Прабабкины желтофиоли
еще в двадцатом отцвели.

И пыль лежит на нотной папке,
где соль музыки, соль земли.
И пианино, от прабабки
оставшееся, увезли.

Но, тяготясь тоской невнятной,
свой детский не отдав кредит,
она вдруг вспомнит *moderato*
 тот день далёкий, невозвратный,
где девочка с косой занятной
этюды трудные твердит...

* * *

Конец июля, а по крыше яблоки
Стучат, как будто август на исходе,
И сбитых листьев крошечные ялики
Плынут, кренясь, по лужам. И угоден

Июлю дождь в разгаре летней засухи
На склоне лета. Лет моих на склоне
Угоден дождь и мне. И стали запахи
Ясней и явственней. И в лужах лето тонет.

Опять листва свежа, а лето яблоком
Созревшим упадет в октябрь со звоном
Ещё не скоро. И цветным корабликом
Отчалил за моря к зелёным кронам

Какого-нибудь там Килиманджаро...
Ну, а пока — конец июльской ночи.
Дождь отстучал. Опять горят Столбы
(Плеяды то есть) вечным многоточьем.

* * *

Жара уйдёт. Я рамы растворю.
И стану слушать, как, не без опаски,
мой август доверяет сентябрю
закончить маём начатые сказки.

А ты не здесь. Ты где-то на меже,
Как будто никогда со мной и не был.
Увидишь ли, как первых звёзд драже
Рассыпляется по гаснущему небу?

Услышишь ли, как тени по стене
скребут с мышами в терцию, как дети —
чужие и свои — сопят во сне?
А ты за них не более в ответе,

чем мотылёнок за гусениц, чем дождь
за крышу, протекающую вечно...
И ты навряд ли правильно поймёшь,
Чем озабочен август в этот вечер...

* * *

Летом, вечером, после дождя,
по дорожкам промокшего сада
осторожно пройди за ограду
и калитку прикрой, уходя
в говорящий на ста языках
Вавилон двадцать первого века,
где никто человек человеку,
где милее синицы в руках,
чем журавлик, что ветром влеком
вдаль от камня, асфальта и стёкол,
отражающих небо без толку...

А дышать глубоко и легко,
как открытое миру дитя,
за пределами Третьего Рима
можно. Где-нибудь в бухточке Крыма.
Летом. Вечером. После дождя.

* * *

Вино и сыр в компании прелестных
Весёлых женщин в бухточке укромной,
А тучи грозовые неуместны
Над морем недосоленным и сонным.

Серьёзный мальчик с тростниковой шпагой
Суровый бой ведёт с чертополохом,
В его глазах решимость и отвага.
Как трудно быть не мальчиком, но — богом...

И дождь случится, шумный и короткий,
И женщины, ничуть не огорчаясь,
Отправятся назад по узкой тропке,
Что мальчик от врагов освободил...

Чатырдаг

Смотри — вон белых домиков стада
Бредут, бредут наверх по бурым склонам.
И если редко приезжать сюда,
Увидишь их не там, где раньше. Кроны

Деревьев опустели до весны.
Гоняет ветер облаков эскадры.
Ни перспективы нет, ни глубины
В дождём размытом заоконном кадре.

Но нет тоски в помине. И душе
Созвучны монохромные пейзажи —
Бессолнечного неба бланманже,
Сухие травы, голый лес и даже

Сырая глина тропок и дорог,
Усыпанная серыми от влаги
Каменьями. Но знаю — только срок
Придёт, как время лиственные флаги

Поднимет в честь дебюта соловьёв,
Залечит склоны травяной зелёной
И музыкой воды, простой и звонкой,
Наполнит чашу жизни до краёв.

* * *

Дожить бы до зимы, до декабря,
и после до апреля доползти...
А там и лето. Тёплые моря,
Азовское и Чёрное, в горсти
качают Крым — от мыса Казантеп
до Сарыча, до Херсонеса, до...
А здесь сейчас лишь ветра мокрый всхлип,
и хочется потщательней в пальто
закутаться. Забыться. Воспарить
у еле тёплой батареи, но
смиряет ветер бешеную прыть,
с разбегу спотыкаясь об окно.

...И надо встать. И жить до Рождества,
до марта в дружно тающих снегах.
До лета, где воскресшая листва
Покоится у счастья на руках.

* * *

Ах, эта сорная сирень, заливевшая пространно,
И эти тучи, белизной верхов затмившие низы
С дождём непролитым. Мигрень болиголова непрестанна.
И всё попарно. Даже Ной в глухом преддверии грозы

Так не сумел бы в свой ковчег собрать по паре каждой твари.
Но здесь такой зелёный май горит смарагдовой звездой,
Что заставляет сирых всех в любовном плавиться угаре.
Скорей! Любой выбирай! Покуда горнею водой

Не затопило утлый чёлн, набитый тенями немыми,
Пока великая печаль не завладела соловьём,
О том, что каждый ни при чём с грехами вечными своими
Там, где тоски зелёный чай. Где мы с тобою не живём.

* * *

Сквозь серебряные буковые ветки
Неба цвет невероятно фиолетов...
Что высматривать у осени-гризетки?
Не допросишься у осени ответа

На вопрос: «А что же будет дальше с нами?»
Осень дарит отрешеньем и покоем.
Слыши хрусткий шорох листьев под ногами,
Резкий просвист чёрных крыл над головою.

Мудрый ворон что-то знает, но не скажет
Бабе-дуре, что цыплят своих считает,
Да сбивается... Куски паучьей пряжи
С ветром за море летят за птичьею стаей.

Дай мне, Боже, не в последний раз забраться
В эту глушь, где фиолетовое небо
Так натянуто на буковые пяльцы
Тонким ниткам перелётным на потребу!

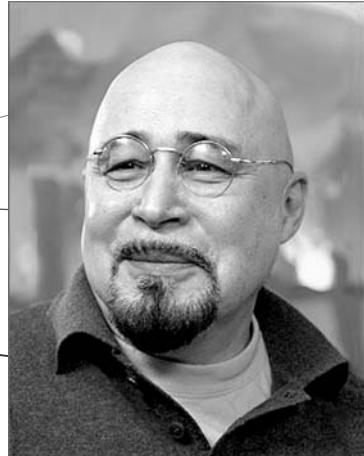
Ворон чёрным обрисует в небе горы,
Паутина белым небо прометает.
И с остывших волн белейшие подзоры
Ветер свесит, вслед за летом улетая...

* * *

О, как они и в самом деле хрупки —
и наших тел убогие скорлупки,
и наших дел важнейших суeta.
...А под крылом ленивых туч скользенье,
и там, в пустыне, медленные тени
их, крадучись, библейского куста
касаются и тихо отплывают.
Мне кажется, такого не бывает,
не может быть такого никогда!

...Но вереница тянется верблюдов
по гребню в лунном свете, и оттуда,
с высот синайских, льётся благодать.
И этим светом призрачным облиты
крутых ступеней каменные плиты,
верблюды, бедуины...
И не взять
с собой вот эту горнюю дорогу,
которой Моисей на встречу с Богом
влачился долго,
мне никак нельзя.
Рассвет прогонит холод и усталость.
Останется лишь крошечная малость —
прожить остаток дней, *тот* свет неся.

Ирина Легонькова родилась и первые полгода жизни провела в Казахстане, в посёлке Каражал недалеко от Байконура. Окончила биологический факультет Харьковского государственного университета. Работала в различных НИИ медико-биологического профиля, в настоящее время заведует лабораторией Областного центра планирования семьи и репродукции человека. Сотрудничает с частными диагностическими центрами. Подборки стихотворений публиковались в журналах «Кольцо А» (Москва), «Дикое поле» (Донецк), «Лава» (Харьков). Автор книги стихотворений «Слова на ветер» (2007). Живёт в Харькове.



Алан Кубатиев

Из книги заметок «Люби Азию» личная проза

Когда ты стоишь один на пустом плоскогорье, под бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот или ангел разводит изредка свой крахмал; когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал, помни: пространство, которому, кажется, ничего не нужно, на самом деле нуждается сильно во взгляде со стороны, в критерии пустоты. И сослужить эту службу способен только ты.

Иосиф Бродский

Люби Азию, или Критерий пустоты

Француз ушёл почти по грудь в ледяную трясину, куда он ухнул только из-за своего чудовищного ослинского упрямства. Красавец, римский профиль, тёмные недобрые глаза, чёрные волосы кольцами без единой сединки — и во всём остальном Луи де Фюнес. Причём с восхода до заката. Да ещё и звали его, будь он трижды неладен, Алэн...

Спасай камеры и кофр с плёнкой, твердил мне он, эта камера стоит семь тысяч, а эта одиннадцать, а этот объектив сделан на заказ, ему вообще цены нет. Он держал всё это хозяйство на вытянутой руке, а я отвечал ему, что спасу всё, в том числе и его...

Кофр он метнул на самый край трясины, я сумел выдернуть его и откинуть к кустам, но француз ушёл в грязь ещё на пяток сантиметров. Слава богу, что я продел в шорты отличный, нестандартной длины ремень, к которому теперь привязал опять же предусмотрительно вырезанный ещё в долине дубовый посох. Вся

эта гирлянда долетела как раз до француза, и я тянул его, уходившего в чёрную, густо воиную грязь уже почти до плеч. Мышицы трещали, кроссовки скользили по растоптанной ослизевшей траве, словно я сражался в перетягивании каната против целой роты молодых курсантов или самой матушки Гренделя, и мои собственные отчаянные рывки подтягивали меня всё ближе к пологому краю топкой низины. Ложись на живот, орал я по-русски, на живот ложись, Алэн!.. Француз не понимал и жестоко бледнел, скорее даже серел из-за смуглой кожи. Здоровяк, бывший профессиональный регбист, он отчаянно бил ногами, и сипящая жижа деловито заглатывала его всё дальше, а я не мог вспомнить, как это будет по-французски, и в полном отчаянии завопил, on your belly, stop kicking!..

Подвыпавая от ужаса, он всё же соскрёб в кучу остатки самообладания и попытался сделать, как я приказывал, но его засосало уже слишком глубоко. Меня подтаскивало к самому урезу гнилой бурой воды, стоявшей над

медленно клубящейся мутью близкого дна, когда я вдруг увидел в стороне кусок гранита, невысоко, будто сколотый зуб, торчавший из глины.

Очень хочется написать, как в каком-нибудь жюльверновском тексте: «Сверхъестественным усилием всего тела...» Я просто бился, подымая тучи бледной пыли, кашляя, хрюпая и даже не матерясь, почти на спине, потому что отпускать ремень уже нельзя было ни на сантиметр, а каменюга безмятежно торчала выше и дальше того места, куда я ещё мог дотянуться. Но тут Алэн перестал извиваться и сумел абсолютно мистическим прогибом улечься грудью на топь, какие-то секунды продержаться на поверхности, прежде чем его снова начало засасывать, и этого мига мне хватило, чтобы провернуться, как крокодилу, вокруг собственной оси и зацепиться носком кроссовки за выступ.

Рывок за рывком я выволакивал его, всё основательнее оплетая камень ногами.

Не знаю, сколько времени прошло до того момента, когда мы с ним, задыхаясь, лежали на истоптанной траве — он чёрный до подбородка, я серый до макушки, — под жёстким горным солнцем. Постепенно высыхая, Алэн становился буро-серым, а я, наоборот, чернел, пока пот пропитывал пыль. Вонь была тошнотворная — от растревоженного болота и от лучшего фотографа-путешественника Франции и компании «Sony». Но нам было всё равно.

Ручей, который и налил эту впадину ледяной водой тающего снега, обернув её классической изумрудной, пестрящей цветами ловушкой для упрямых марсельских дураков, становился всё шире и глубже парой десятков метров дальше. Крохотный пляжик розового песка, из которого выступали зелёные валуны, как нельзя лучше годился для того, чтобы содрать с нас наше чёрно-серое. Прозрачная до невидимости вода лишь изредка сгущалась мгновенным серо-шёлковым отливом, и облачка грязи бесшумно уносились прочь. Властелин Неба, которого мы, собственно, и пришли сюда снимать, смотрел на нас безмятежно и неосудительно. Серебро, сапфир, опять серебро. «Шла тень горы у бреда на краю. Зачем его небросили метели высот Хан-Тенгри в каменном бою?..» Поверить невозможно, что написано про эту сверкающую стену немыслимой красоты...

Шорты я застирывать не стал. Обсохнут — обобью. «Ерунда, ротмистр, обсохнет — отвалится...» Мокрые штаны способны до мяса

ободрать самые интимные поверхности, а нам ещё надо было возвращаться по лесу к перевалу и спускаться с него к джипу. Зато майку и носки я выстирал с удовольствием, да к тому же пришлось обмыть и почти новые кроссовки, некогда белые, а теперь устойчивого серого оттенка с зелёными травяными пятнами. Мокрую обувь тоже надевать было нельзя, но идти босиком я не боялся. Долина была покрыта плотной короткой травой, где были смешаны резные маленькие растения, крошечные неяркие цветы и мелкие пушистые розетки, похожие на миниатюрные лопухи. И ни единой колючки. Нагая ступня вставала на них, будто на грубый бархат или китайский велюр, они были живые, прохладные и, освобождённые, медленно расправлялись, не отягощая экологической совести. Даже более того.

Неделя пешего хождения изрядно помучила мои пятонные шпоры. Вообще-то я уже привык жить с практически не прекращавшейся болью и лет восемь ходил, особенно на людях, нормальной походкой; но вдали от глаз корчился и шипел при каждом шаге. Потом, через три года, доктор Счастливый (фамилия настоящая) избавит меня от этих ощущений, но тогда... После босого марша по этому живому ковру четверо суток я ничего не испытывал. Долина отплатила мне добром — наверное, за пережитые в ней страдания.

Алэн, покрытый вонючей коростой, как средневековый прокажённый, сделал шаг в ручей и отчаянно заорал. Вспрыгнув на валун и отышавшись, он заявил, что от этой воды у него просто остановится сердце и уже лучше он будет терпеть этот смрад. Никакие уговоры на него не подействовали, а когда я лёг в поток, он демонстративно отвернулся.

И тут я начал ржать. Именно сейчас я вспомнил, как будет по-французски: «Ложись на живот»...

Он к тому же был и вегетарианцем. И вся его семейства тоже... Попробуйте в горах Тянь-Шаня прокормить вегетарианца. И всю его семью тоже. Слава богу, он был неполным вегетарианцем — забыл, как это называется, когда они позволяют себе небольшое количество рыбы, яиц и молочных продуктов. Поэтому на Сон-Куле я их кормил невозможной вкусной пелядью, выловленной тут же и целиком зажаренной в казане, а у Токтогульского моря в крохотном придорожном кафе мы ели опять-таки свежевыловленную форель со свежим салатом и варёной картошкой. А в горах я кормил их густейшим каймаком и свежими

лепёшками. Лепёшки были куплены несколько дней назад и в нынешнем виде могли проломить череп, но от дедушки Ивана Васильевича я знал один кулинарный секрет, известный, похоже, со времён караванных путей.

Кстати, караваны ходили в этих местах ещё в тридцатых годах. Было даже такое специальное управление. А Киргизия оказалась одной из первых советских республик, имевшей свое министерство иностранных дел. Без него нельзя было торговать с Китаем и другими странами.

Так вот, окаменевые чуреки надо было обмотать мокрым полотенцем, сунуть в котёл, а под котлом раскочегарить паяльную лампу. Через три минуты горячие благоухающие лепешки подавались на дорожный столик. Лепёшка — удивительная штука. Её можно есть, но можно есть и ею. Края у неё круглые, толстые и мягкие, а середина плоская и пожёстче. Куском, умело отломленным, можно есть, как ложкой, понемногу от него откусывая, когда он пропитывается соками еды... На серединке специальным игольчатым штампом пекарь, прежде чем сунуть руку в ватном рукаве в тандыр и прилепить тесто к раскалённой стенке, накалывает круглые узоры, самые разные; наверное, они, как все узоры в мире, что-то значат, если их набивают на лепёшку уже тысячи лет...

Любовь — это просто особое знание. Там сливается всё: увиденное и услышанное, потерянное и найденное, обожаемое и ненавидимое, прочитанное и забытое, запахи, осознания. Уверенность и растерянность.

Азию можно любить только так. Если ты плоть и кровь её, пыль с её лёссовых дорог и грубая листва её карагачей, тебе вообще незачем любить её — она твой состав и никогда в тебе не истратится. Но кто я такой? Неужели я азиат?

Я родился здесь, я вырос тут, я уехал отсюда я вернулся сюда, опять уехал и никак не могу покинуть эту землю окончательно. Я жил в трёх государствах Азии, был на всех её землях, ел её круглый хлеб и пил её воду — когда солёную и глинистую, когда немыслимо чистую. Немножко преувеличиваю, конечно. Речь только о Средней или, как её сейчас гордо именуют, Центральной Азии. Можно причислить к ней и Сибирь, которая больше Азия, чем любая Средняя.

Есть люди, которые видели и знают куда больше меня, излазившие такие закоулки, о которых я и слыхом не слыхивал. Ну и что?

«Узнать это может всякий, но сердце такое лишь у меня». Жаль, что его с каждым годом всё меньше, этого самого сердца. Не знаю, почему. Тогда просто здорово, что я успел увидеть всё это прежде, чем израсходовались остатки. Ура.

Дети Памира-2 письмо к другу

Помнишь, в советском кино был такой чудный фильм, сделанный по «Ниссо» — роману Павла Лукницкого о девочке-таджичке, спасённой советской властью от жалкой участи стать женой и матерью и заниматься скучным домашним хозяйством ягнобского горца. Ну а «2» — это уже от меня.

Строго говоря, это не совсем Памир. Там смыкаются Алайский хребет и южные отроги Памира. Места зловещие, но не совсем; есть своя красота и космическая гулкость.

Говоря ещё строже, никакого римского права попадать туда я не имел, потому что допуска в эту строжайшую погранзону у меня не было, а оформлять его требовалось время. Меня просто позвали с собой знакомые пограничники, совершенно нелегально, в благодарность за одну серьёзную услугу — Азия-ссс!.. Когда я эту услугу им offered, меня спросили, что я за это хочу. Не раздумывая, я ответил, что мини-«узи» с двойной обоймой под парабеллумовский патрон вполне устроит, но так как это невозможно, то пусть возьмут меня с собой в Оби-Гарм или на плато Ховалинга. Мне с кислой гримасой было пообещано, и я благополучно об этом забыл.

И вот незадолго до полуночи раздаётся звонок, и мой полковник в страстной надежде, что я откажусь, спрашивает, не полечу ли я с ними.

Ни то, что это опять ободранный и грохочущий «Ми-6», ни то, что там будут сидеть вояки, с угремым изумлением плящающие на мою американскую куртку и интеллигентские очки, ни то, кого пришлось подмазывать моему полкану, ни то, что жена опять будет пилить меня по всем возможным направлениям, меня не остановило.

Радостно сказав: «Да!..», я побежал снаряжаться.

Чтобы не выглядеть слишком интеллигентно, в своё время я заказал «макнамары» из чёрного оптического пластика, а к ним купил в Штатах croackies, удерживающие очки на морде даже при падениях. Взял швейцарский офицерский нож, полевую зажигалку,

аптечку, пару банок консервов, термос чаю с перцем, а также, памятуя о том, что придётся общаться с народом, блок сигарет и здоровенную бутылку водки типа полуторалитрового кувшина. Водка, кстати, хорошая. Делает её концерн, принадлежащий дедушке одноклассницы моей дочери. Кроме того, в специальных случаях она годится как дезинфицирующее средство и согревающая растирка. Ну и ещё некоторые нужные штуки. Памятуя и о том, что обязательно опалю морду горным солнцем и ветром, украл у жены тюбик крема. Выслушав всё, что обычно говорится мне в таких случаях, кротко лёг спать.

Пять часов утра, кромешная тьма, моросящий дождь. Кошка жалобно орёт, провожая меня. Она страшно не любит, когда кто-то уезжает, а когда уезжаю я, просто бесится. Один-единственный раз она провожала меня спокойно, и именно тогда наш рейс отложили на сутки с лишним, отчего пришлось возвращаться в родные пенаты.

«Мерседес» ждёт у въезда во двор. Не тот, на котором ездит большинство моих студентов, а микроавтобус, захваченный у контрабандистов. Мой полкан уже сидит в нём, с ним ещё пара волкодавов, которым меня представляют как журналиста. В багажнике мотается здоровенная сумка, и я не я, когда в ней нету трёх-четырёх АК-74М и ещё чего-нибудь. Мне укороченная и улучшенная модель «калашникова» ни к чему, я человек относительно мирный, но автомат хороший. Сам по себе признак наличия не только личного — пистолеты там, десантные ножи — оружия не слишком радует, но я знаю, что ни на что серьёзное полковник меня бы не позвал. Хотя я бы поехал.

До городка с манящим именем Кант (по-киргизски это всего-навсего «сахар», там гигантский свёклоперерабатывающий комбинат, а по-американски непечатное ругательство) мы добираемся за сорок минут, ещё минут двадцать петляем по улочкам и просёлкам, потому что нам надо на военный аэродром, откуда раньше летали и штурмовики, и бомбарды, и транспортники, да и само шоссе построено так, чтобы в случае надобности использовать его как взлётно-посадочную полосу. Сейчас рассматривается возможность предоставления его под базовый аэродром для французских BBC, отчего туда шляются всякие политические и военные шлизмы. (В итоге недавно он стал военной авиабазой российской армии. — А.К.) Больше всего я боюсь, что по этой причине на въезде будут люди из военной разведки или

ГБ, и тогда меня в лучшем случае не пропустят и назад придётся добираться своим ходом, а в худшем... Но я придерживаюсь принципа Сенеки и неприятностей до их поступления не воображаю.

О радость! На шлагбауме только зевающий солдатик, а в караулке сонный летёха и такие же сонные «деды». Да здравствует киргизская армия! Потом я вспоминаю, что мой друг Слава А. периодически возит своих туристов отсюда, подряжая военлётов, и мне похорошело.

Один из видов бизнеса у него просто дивный. Набив салон богатенькими горнолыжниками, он летит с ними на Терскей-Ала-Тоо, выбирая какой-нибудь совершенно девственний склон с выходом в долину или на плато.

На вершине машина садится, выпуская слаломистов, они стартуют и мчатся вниз чуть ли не час, по самым корявым застругам или по глади — как позволяет мастерство. А Славка или его сын летят параллельно, снимая их на видео. Потом эти козлы где-нибудь у себя в Хренобурге или Писсимиси самодовольно крутят соседям фильм, а соседи ахают. Но это действительно интересно, особенно когда приходится прыгать метров на десять — двенадцать при немаленькой скорости...

Полковник предъявляет документы, лейтенант возит пальцем по списку и кивает. «Мерс» катит к чёрным вертолётам, свесившим лопасти. Но один медленно раскручивает винты — этот явно наш.

Наш он ещё и потому, что на стойки колёс у него подвешены новёшенькие реактивные установочки, щедрый дар страны России, которая принялась усиленно снабжать Киргизию техникой, запчастями и боеприпасами. Китай везёт обмундирование и продукты, Европа и Америка электронику, деньги и инструкторов. Моего полковника два месяца с группой других гоняли по роскошному полигону в Альпах, где готовят спецов по войне в горах и высокогорье. Вернулся он оттуда отощавший, злой, но воодушевлённый, хотя он не боевик, а специалист по связи и, я подозреваю, по электронной разведке. Россия поменяла нашим вертолётам ещё и до предела изношенные или просто разворованные двигатели и хозяйство. Реактивные установочки отчётили заряжены полным боекомплектом «воздух — земля». Но опять же вряд ли по делу. Просто на всякий случай.

Дождь иссякает, становится просто сырой пылью. Звёзды режут глаза, но восток уже цвета спелой хурмы. Мы стоим рядом с вер-

толётом, курить нельзя, поэтому общаемся. Я предусмотрительно зашёл накануне в анекдотный сайт, и потому народ мне рад. Нагрев атмосферу, задаю вкрадчивые вопросы, но ребята явно тоже не пальцем деланы, поэтому отвечают мне ровно столько, сколько надо. Но так как интересует меня не киргизская часть проблемы, о которой я и так всё знаю, а чего не знаю — узнаю, то я спрашиваю о взаимодействии с таджикской армией и спецназом, и мне кое-чего рассказывают.

Например, о том, что нашего доблестного министра внутренних дел генерала Шамкеева, попавшего в одних кальсонах к бандитам ещё в первый Баткенский конфликт, а в плenу свалившегося с предынфарктным состоянием, бандиты отпустили на носилках по настоянию таджикского спецназа, пообещавшего вырезать их родню на таджикской стороне. А так как генерал попал в плен вместе с группой японских геологов, за которых бандитам заплатили два миллиона долларов, то они отдали его бесплатно, в виде бонуса. За парнишку-адъютанта, вздумавшего с одним магазином генерала защищать и которому, когда он расстрелял патроны, неспешно отрезали голову, не платил никто. Есть слухи, что и бандиты получили японских денег меньше половины и что именно потому их положили до последнего на границе.

Совсем рассвело, но сыро и холодно. Если бы не исландский свитер и американские ботинки, я бы уже при всей своей морозостойкости выбивал челюстями «Take Five». Спутники неспешно хлопают по сотке, я благодарю и закусываю. Появляются пилоты, здороваются и залезают в кабину, мы рассаживаемся в салоне, но это вовсе не значит, что мы полетим. Хорошо, что вертушка не простая, с креслами вместо скамеек — навинтили для какой-то натовской группы и не успели снять. На скамьях я уже пару раз отвибрировал копчик.

Судя по стику, автоматы лишь в одной сумке. Во второй, судя по специальному звяканью, несметное количество бутылок. Господи, твоя сила! Неужели всё будут пить?.. Да ещё в высокогорье? Ну можно за уик-энд, но граница на кого ж останется?.. не устерегу один!..

О, завыл движок, бортмех захлопнул и задраил двери. В движеньи мельник жизнь ведёт, в движеньи. Колёса тоже не стоят — вертятся!

Вертолёт взлетает гуманнее самолёта, ни разгонов, ни рулёжки, а давление в ушах я умею снимать, даже не глотая. Набрав высоту,

спутники причастились вторично, и я, почувствовав запах коньяка, не стал отказываться. Коньяк был тот самый, который я же и подарил полковнику (о-ooo, чем старше офицер, тем он жаднее... Про флот ничего не знаю: может, у них иначе), а значит, хороший. У нас его всё ещё делают из коньячного спирта, который, в свою очередь, получается из технических сортов винограда. Закусываем моей бастурмой — лимоном закусывал царь Николай Второй, чем и погубил Империю.

Разговаривать невозможно; внутренняя связь в салон не проведена. Один волкодав орёт другому в ухо, но мне ничего не слышать, а жалко. Полкан с хмурым рыломглядит в иллюминатор и отпивает уже прямо из фляги.

Кажется, узнаю маршрут, которым сто раз катался на машине. Вот мелькнул Бишкек, пошли пригороды, Кара-Балта, что означает «Чёрный Топор», Сосновка, Беловодское, Сокулук, вот забирают круче к горам, на юго-запад, и вот начинается Киргизский хребет с его пропастями, пиками, заснеженными склонами — куда там Гималаям. Очень быстро показался Суусамырский перевал с его огромным тоннелем, который можно запереть воротами чудовищной величины. Это где-то выше трёх с половиной тысяч, и сам невероятной длины тоннель пробит практически в чистой скале. В сезон через него на джайлоо прогоняют гигантское количество скота. Там ещё четыре тоннеля покороче и куча террас на самом шоссе. Вот видно уже Токтогульское море и даже знаменитый Нарынский каскад, построенный великим осетином, покойным Казбеком Хуриевым, но вертушка опять забирает юго-юго-западнее, и мы уходим к таджикской границе.

Алайский хребет мрачнее и бесплоднее тех мест, про какие я писал прошлый раз. Ещё на аэродроме полковник объяснил, что ни в Гарм, ни на Ховалингу мы не попадём. Огорчаться я не стал, потому что Ховалинга прекрасна весной, когда разом зацветают все эфемеры, каких в другое время не увидишь, и есть долины, на несколько десятков километров поросшие дикими маками и тюльпанами Граафа. А Гарм тоже хорош только в речных долинах, для созерцания коих надо слишком углубляться на таджикскую территорию. В горах сейчас снег и людей нет, а вот в долинах очередь бронебойных пуль в брюхе или «стингер» в горяченький двигатель склоняется — пара пустяков... «Пусть эта птица сеет гром, но ястреб тоже птица. И если птица

сеет гром, мы эту птицу подобьём...» Ох, не к добру вспоминается мне Николай Тихонов.

Пилот предусмотрительно держится по-далъше и от узбекской границы. Раньше бы он спрятал и сэкономил почти полчаса и кучу керосина, теперь... Истерика у узбеков сильная, оружие хорошее — все ракеты СССР, бывшие на этой территории, на ней и остались. Попетляем, целее будем. Вертушка идёт к многострадальному Баткену, потом к многоскандальной Исфаре, где таджики с киргизами то и дело дерутся за поливную воду. Через Исфару мы идём на Исфану, а там уже самая граница.

Уффф... Вы ещё не обалдели от геополитических лекций? Но просто когда живёшь тут, понимаешь, что это не просто журналистский материал. Да и Россия, как Америка, не очень хорошо ещё петрит, что киргизы много пропускают, но и от многого её прикрывают... Хотя путинская администрация ощутимо поумнее ельцинской — тем было вообще наплевать.

Китайцы и те спохватились почти сразу: отрезать синьцзянских уйгур от талибов им надо было позарез!.. Те, козлы, у себя развели кучу руководимых афганскими инструкторами лагерей и собираются мстить китайцам по всему миру. Мой приятель ещё в 2000 году интервьюировал в масудовской тюрьме китайских и казахских уйгур, дравшихся с северянями в качестве защиты диплома на звание боевика.

Внизу ничего интересного — снег, горы, голые плоскогорья, сопки, мелкие реки. Этих мест я практически не знаю, да и с воздуха вижу первый раз. Полкан орёт, надсаживаясь, и тычет пальцем вниз, и я понимаю, что мы будем садиться.

Мелькнула застава. Пяточок домиков, службы и казармы. Вертолёт медленно (склон вредный и сложный) заходит на посадку. На мой взгляд, застава расположена по-дурацки: с горы из тяжёлых пулеметов и гранатомётов её можно классно обработать. А еслиочные прицелы есть, то и ночью, и практически никто не уйдёт. И понизу можно долго идти незамеченным. Потом замнач заставы подтвердил мою догадку — их обстреливали, пока там ещё стояли российские погранцы, и тогда, когда там разместились неподготовленные киргизы. В стенах казармы — заштукатуренные пули. Потом это надоело, и они вырыли на вершине дот и парочку уютных окопов, где при желании можно разместить даже полковые миномёты, и держат там караул. А долинка минирована, о чём нас предупредили сразу.

Мы сели. Поодаль сидели несколько человек в камуфле, паслись осёдланные лошади. Группа почётной встречи.

Снаружи оказалось весьма дискомфортно. Высота почти четыре тысячи, даже для меня многовато; опыт есть, я старался двигаться очень неспешно и всё равно хватал воздух. Было хмуро, серо и сырь. Мокрые камни блестели. Скалы разноцветные — чёрные, зелёные, багровые, оранжевые, плёнка воды усиливала цвет.

Забыл сказать, что за креслами всё было забито рулонами сена и мешками. Отворили грузовой люк, и цирики принялись всё это сгребать, на что я смотрел с ужасом. Конечно, пара-тройка дней тут, и я адаптируюсь, но сейчас... От одного тюка я бы умер. Или спятил.

Забегая вперёд, скажу, что я на следующий день уже полез на вершину, посмотреть огневые точки. Не скажу, что летел орлом, но всё же шёл приличней, чем ожидал.

Выгрузившись, вертолёт поднимается и уходит на следующую заставу. Редкий случай. Чаше туда долго и нудно ползут машинами. Опять же спасибо России — подбросила керосину и не дала весь разворовать.

Мы ползём без машин. Лошади не для нас — цирики выуют их мешками и ящиками, а сено подберут вторым заходом. Кони по-хорошему худые, мышастые — горные. Но всё же король горных троп не конь. А кто — расскажу потом. Встречают нас начальник заставы и его зам, потому что мой полкан — фигура в Управлении погранвойск. Начальник мечет один-единственный взгляд на мою бороду и экипировку, всё сразу понимает и теряет ко мне всякий интерес.

Застава хорошая. Цирики без дела не шляются, на территории чисто, все стёкла вставлены. Отделение на плацу лупит сапогами, гоняют строевую. Я бы умер. Нас ведут, естественно, в столовую, где накрыт стол, усаживают, но я отказываюсь. Во-первых, неохота, во-вторых, совестно. Выставляю свой термос, по опыту зная, что чай на этой высоте омерзительный — вода вскипает, не успев нагреться, — но оказываюсь в дураках. Тут откуда-то взялся немецкий герметический кипятильник на полсотни литров, и в нём всё прекрасно закипает. Замнач сидит рядом, и мы знакомимся. Оказывается, я знаю его родича, завкафедрой государственного права нациуниверситета (в Азии всё так делается!), и мы сами чуть ли не породняемся. Капитан, разумеется, в пограничниках недавно — после

того, как российские ушли, заставы заполняли кем попало. Армейские шли с охотою, потому что мечтали охранять от врага международные аэропорты. Но вакансии скоро кончились, и потому пришлось идти в поле. Однако замнач вроде парень тёплый, бывший десантник, служил в Самарканде, а я караулил там аэродром подскока и бил морду своему сержанту, марупольскому цыгану и несусветному вору. Так что мы породнились ещё разок.

Мой полкан и волкодавы, откушав, принялись решать какие-то свои проблемы. Волкодавы забрались на лошадок и уехали кудато с командиром разведвзвода. У одного из них роскошный бинокль с фотоумножителями. Полкан уединился с начальником: явно будет долбать его за недостатки техслужбы или чего ещё.

Я прошу разрешения побродить по территории, замнач позволяет и обещает потом поводить вокруг. Тут природа вся радостно воодушевляется, начинает дуть сильный ровный ветер, и через полчаса вылезает солнце, а всю хмару тащит в Китай — вот вам.

Головушку слегка ведёт. Дыхание коротенькое, как мысли рэпера. Уши набухли и звенят — постарался вертолёт, но и горы тоже: последний раз на такой высоте я был года полтора назад. Линия снегов метрах в трёхстах. Но ничего — чай у меня щедро заправлен элемутерококком.

Неподалёку стрельбище. Мишени расставлены в горловине небольшого межгорья — ростовые, поясные, пулемётчик. Вспоминаю, как на стрельбах из пулемёта срезал на фиг две мишени, срубил стойки, на которых они держались, нечаянно, хотя перед своими, конечно, изображал Джона Кровавую Пулю. А начальник полигона материл меня — долго, скучно и нехудожественно.

Самое смешное, что там стреляют и даже стоит оцепление. Это означает две вещи: бардак помаленьку отступает и есть патроны. Патроны-то делались и у нас, на заводе имени, разумеется, Ленина, но сейчас он уже сто лет бездействует. Видимо, российские. Я подошёл, постоял рядом с часовым, спросил, как зовут — Медетбек, — и угостил сигаретой. За это он наплёр мне кузов солдатских баек, большинство из которых я слышал ещё до его рождения. Но одна была интересная. На заставу пришёл раненый ишак с выюком. Тавро неразборчивое, но явно не здешнее. Сердобольные цирики разнуздали его, отвели в конюшню, начали промывать, прижигать, перевязывать и только потом сунулись посмотреть, что

во выюке. А там в кармане оказалось три гранаты со вставленными запалами, пистолет и в самом мешке — полсотни кагэ опиума-сырца. Я восхитился, но положил себе проверить.

Солнце уходит, брызнул дождик, снова появляется хмаря, но я не паникую. Хребет чистый, значит, настоящей непогоды не будет. И не надо. Завтра за нами должен прийти вертолёт.

Внизу шумит извилистая речка, один из бесчисленных рукавчиков не то Зеравшана, не то Соха. Несмотря на шум в ушах, различаю, как дикая вода гулко перекатывает по дну крупную гальку. Однажды я нашёл и привёз домой совершенно круглый булыжник величиной с пионерскую голову; так его обработала река Чу.

Два цирика меланхолически тащат на палке молочную флягу, в которой, однако, речная вода. Идти в гору. Я бы умер. Вопроса, почему бы не провести шланг и насос, я не задаю.

Солнце разгулялось. Нагревающиеся скалы дымятся, пахнет зеленью, мокрым камнем и дальними снегами. Со стрельбища несёт порохом и матом: дело обычное, но на месте отцов-командиров я бы не стал усердствовать — в мате. Девять десятых солдат нынче психопаты и хулиганы; засадить очередь им ничего не стоит. Да и одиночный выстрел может здорово попортить здоровье.

«Не боялся снегов и гор, драк, безденежья и печали. И однажды почти в упор — пусть случайно — в меня стреляли...» Дальше уже не помню. Но это правда. Дело было в карауле. Не на все посты выдают боеприпасы. Но после каждого возвращения из караула оружие разряжается и проверяется, о чём громко rapportуется начальнику караула. Делается это на специальной стойке, куда устанавливается автомат, вернее, автоматы.

А караул — дело на редкость нудное. Есть смены с трёхчасовым интервалом, есть с двух. В нарушение всех уставов часовые спят — не все, но спят, особенно к утру. Двухчасовой пост особенно паскуден. Не отоспаться, не отстояться — беготня. Ну вот, пост номер один, у знамени и денежного ящика части именно такой. Летом он ещё паскуднее — на нём надо стоять в полупарандной форме: шерстяной китель, рубаха с галстуком, фурага, бриджи и сапожищи. Плюс автомат, подсумки и прочее. Температурка даже ночью ниже двадцати пяти не падала.

У нас, хвала Господу, тогда была только полевая форма с ботинками. Отчего нас туда не ставили. Мне вообще повезло, я выменял

отличные яловые «говнодавы» (миль пардон!), размял их, замочил в воде, остававшейся от мытья солдатской посуды, сообщив им вяящую мягкость и непромокаемость, и летал как птичка. Портянки меня дедушка Иван Васильич, царство ему небесное, перед службой научил мотать тремя способами.

Ставили на эти посты ребят из других рот. От жары и бессонницы они чумели.

И вот один такой, плечом к плечу со мною разряжая автомат, часа в четыре утра допустил ошибочку, отчего я оглох и ослеп на краткое время.

Потом открыл глаза, имея под веками буквальный песок, в ушах звон, а в ноздрях пороховую гарь. Оказалось, парень (всё делается автоматически) начал не с того. Вынимается магазин, потом дёргается затвор: если в патроннике есть патрон, он вылетает в лоток. Затем нажимается спуск, чтобы пружина не оставалась взведённой и не слабела. Потом снова оттягивается затвор, дабы проверяющий мог заглянуть в патронник, и зычно рапортуетсѧ.

Ошалевший «черпак» начал с дёрнутого затвора и нажатого спуска. Переводчик стоял на автоматической стрельбе, и ружышко выпалило четыре заряда. Отдача повела ствол прямо на меня, пульки прошли сантиметрах в трёх от моего левого виска, и эти дырки я увидел прямо перед собой. Будь там кирпичная стена, а не гаситель, железная ёмкость с песком, вы бы сейчас беседовали с каким-нибудь другим юзером, а я бы не узнал многое о жизни... В общем счёте в меня стреляли трижды, но этот раз был самый душевный. Интересная новеллка?

...Но это было давно, больше тридцати лет назад. Многое из этого времени и опыта попало в пишущийся роман — из меня, молодого, здоровенного, горячо потного, по-прежнему живущего там. А здесь я, седой и старый, сижу на валуне и смотрю, как за мишенями взлетают султаны суглинка и брызжет иссечённая трава. Пули визжат противно — с истерического диканта на дребезжащий альт.

Меня трогают за плечо. Замнач подошёл со спиной, но я его услышал метров за семь. Из вежливости не стал оборачиваться. Спросил, как дела, не хочу ли пострелять. Я хотел, но отказался. Часовой сразу пошёл подальше. Нести службу. Побеседовали. По врождённо-приобретённой пакостности характера я сразу же спросил, что за байка про ишака с опиумом. Оказалось — чистая правда. Пистолет был китайский ТТ, но их много и у нас, кон-

трабандой тащат, очень популярная система. Прошибает большинство бронежилетов. Тридцать процентов преступлений с применением огнестрела на территории СНГ — из него, родного. А опиум, конечно, сдали. Я спросил — неужто весь? Начальник уверенно сказал: ну конечно!

Я сделал вид, что поверил, потому что знал — щипнули наверняка. Даже не для продажи, хотя и это не исключено, а для страховки. Мой приятель, который сейчас богатый человек, ещё бедным в своё время никак не мог избавиться от простуды, а антибиотики мучили его печёнку. Ну вот и купили ему «ляп» (5–7 грамм) и велели съесть. Прошибло потом, кинуло в сон, а через семь часов встал здоровёхонек. Правда, очень велик риск аддикции.

Ишак-наркодилер теперь служит на границе, является отличником боевой и политической подготовки. Кстати, в горных войсках лошадей используют реже. Так, для патрулирования, преследования, коротких перевозок на равнине. В горах используют ишаков. Упорист, жилист, вынослив, пройдёт там, где лошадь не сможет — ссыплется (сам видел), таща при этом чуть ли не свой вес. Лошади нужно тащить еду покалорийнее, зерно там, ячмень, джугару, клеверок, на одной траве она не продержится. Осёл хряпает всё, чторастёт, и не теряет боевых качеств. Кроме того, он дешевле. Чужого к себе не подпустит. Имеет внешность философа. А маленькие осята невероятно забавны — совсем как взрослые, но раз в пять меньше и ужасно пугливые.

Под разговор я спросил замнача, не свидёт ли он меня в укрепрайон на вершине. Поскольку мы уже пили горячий чай с печеньем, а на водичку я намекнул, то он вздохнул и сказал: «Пошли». И мы потащились к сопке.

Горка не очень высокая, но исключительно удобная. За спиной гигантский утёс, откуда нужно спускаться на «сопле» (трос) метров в сто сорок. С неё видно всё, обстрел во все стороны, а куда не видно, там ахтунг, минен. Взирались мы на неё долго, но не из-за меня, а из-за сырости, было довольно склизко. По пути — это была кривая тропинка-глиссада, усеянная мелким щебнем, норовящим пустить идущего под откос, — он рассказывал мне, как их дважды обстреливали с этой горки, как сейчас они сняли там боевое дежурство, потому что Джумабай Намонгони попал под американские бомбы и вообще талибам не до нас, а наркодилеров в первые же сутки после взрыва БТЦ просто для профилактики взяли

всех, а потом выпустили даже не извиняясь, но наркотики всё равно идут, правда, теперь по трассе Ош — Хорог, откуда убрали русскую заставу, и теперь там проходит больше пятидесяти процентов того, что потом иногда отлавливают в низине. На это я заметил, что основная масса табака, алкоголя и бензина ввозится в Киргизию нелегально и что от этого больше вреда, чем от наркотиков. На это он возразил, что это ещё можно проконтролировать и отловить, а наркокурьеров сейчас если и отловишь, то мелочь пузатую. И как бы в пандан рассказал, что в Оше взяли недавно большую организацию наркокурьеров, точнее, наркокурьерш, именно пузатых, из одних беременных тёток — подбирали специально, чтобы сажать было затруднительнее. Я в ответ рассказал ему, что Казахстан официально как производил уксусный ангидрид, прекурсор героина, так и производит.

Под эту светскую беседу мы добрались до вершины и стали отдуваться. Я давно заметил, что даже незначительное возвышение над поверхностью меняет мироощущение. Недаром русских так потаскал в своё время к себе Кавказ. У них-то настоящих гор не было, так, умеренное скалолазание. Недаром целое поколение шестидесятых выросло на романтике горовосхождения. Горы — это... Это горы.

Но вниз мы смотрели с огневой точки. Хорошо укреплённая яма, с нишами, бруствером, земляными полками, где прочно и надёжно устанавливается даже тяжёлый пулемёт, укладываются короба с лентой и ящики с боеприпасом. Точка для ротного миномёта. Окопчик на случай обстрела и блиндажик для отсидки в непогоду.

Вам ещё не надоело? Я, в общем-то, к армии отношусь спокойно, как к материалу, однако мужчина всё равно чувствует некое трепыхание сердца, говоря об этих предметах. Да и ехал я сюда именно за этим.

Поговорили мы и здесь. Куча вещей, о которых вам знать неинтересно (да и жадничаю я просто), специальные детали, анекдоты военного характера — коли допишу «Дорогу...», многое туда пойдёт. Но одним глазом я всё равно смотрел на горы, всё ярче зеленевшие под солнцем, на небо, становившееся всё голубее, на ледяной, ослепительный, жгучий свет Алайского хребта со всеми ультрасиними гранями его ледников...

Ну что, сказал замнач, давайте вниз. Куда вниз, поинтересовался я. А вон туда, показал он. Так это, старик, сказал я, там же мины? Не-е-ет, хитро сказал он. Там фугасы. Мина —

это кто наступит, того она и рванёт. Знаете, как сейчас узбеки границу заминировали? Густо-густо. Наши люди там рвутся всё время, скота погибло тыщи. Правительство скандалит, а узбеки плевать хотели. Фугасы — эт-т-то мина управляемая, кого хочу, того и брякну, и когда хочу.

Поверив лицу, меня сопровождавшему, и не спрашивая, кто и как управляет данным фугасом, я потащился вниз, по куда более короткому пути и более сухому склону, давя мелкие мёртвые цветы.

Мы вышли в широкий распадок. Слева начиналась осыпь, остановленная грядой могучих валунов. Что меня в киргизских гранитах поражало, так это цвет. Перед перевалом Тюё-Ашу (Верблюжья Глотка) слева, на другой стороне ущелья, есть гигантская стена, высотой почти в километр. Цвета — все. Зелёный, серый, белый, чёрный, красный, коричневый, мясной. Здесь, в этой гряде, выпирал один, высоченный, острой гранью вперёд, густо, ярко, свеже-оранжевый... Настолько необычный, что я на него засмотрелся. Что поделать, я эгоист. Мне лень фотографировать. Я лучше запомню. Могу рассказать. Особенно если просят. Ну а если не просят — обязательно.

Замнач сказал — классный ориентир, местная достопримечательность, с воздуха видно. Откуда он тут взялся, непонятно совершиенно. Вокруг таких гранитов нет. Может, останец? Или выход скрытого пласта. Копнуть бы, просто так, безо всякого сенсу.

И тут дух Пелевина, похоже витавший по соседству, начал колдовать.

Беркут, скользивший над нами, вдруг поплыл вниз и с плавного виража уселся на тот самый оранжевый великанский столб.

Замнач без интереса проследил посадку, потом вдруг сказал: «Ничего себе...» и схватился за бинокль. Я решил, что он заметил диверсанта, но он рассматривал беркута. Потом довольно сказал: «Агга...», опустил бинокль, сдёрнул с плеча автомат — тот самый укороченный АКСУ, для перестрелки в сортирах — прицелился и бабахнул. Потом второй раз.

Зная склонность пули АКСУ к рикошетам даже от земли, я успел шагнуть замначу за спину. Но успел и разглядеть, как беркута сорвало с камня, швырнуло на осыпь, а в воздухе затанцевали бурые и чёрные перья и белый пух. Вторая пуля высекла длинную искру и с воем ушла куда-то вверх.

Не хотелось бы мне оказаться с капитаном по разные стороны баррикад. На сорок метров из короткоствольного оружия, одиночным вы-

стрелом снять пусть даже довольно крупную мишень...

Капитан вытащил рацию «Барретт» — дар дружественной Австрии — и сказал в неё: «Девятый, я третий. Приём». Ему что-то ответили, и он сказал: «Квадрат ноль двенадцать, случайный выстрел, группу не высылать...» Потом, пряча «Барретт» в карман, сказал — пошли, покажу.

Мы подошли и начали перелезать через гряду. Оранжевый столп вблизи оказался ещё и в извилистых зеленоватых прожилках. По верху он был заляпан росплеском быстро чернеющей крови.

Беркут лежал метрах в трёх от него. Мёртвый: пуля разворотила грудь и почти перебила шею. Капитан сказал — поглядите. Я спросил — на что? Это ваше главное занятие тут? Он сказал — внимательнее посмотрите, и показал куда.

В очередной раз поразил меня капитан.

Это он с такого расстояния заметил, что у беркута обе лапы шестипальые. И решил сделать себе сувенир.

Беркут лежал и выглядел поразительно мирно, без этой вечной орлиной свирепости. Даже клюв, которым он пробивает черепа, был просто клюв. Ненавижу охоту. И всегда ненавидел. Покуда я рассматривал птицу, капитан присел, вынул здоровенный и совершенно нештатный ремингтоновский тесак, явно трофеинный, и несколькими взмахами отпилил орлу обе лапы. Встав, одну щедро протянул мне. Я поблагодарил и отказался; сказал, что у меня другой талисман. Капитан сильно и неприятно удивился, но настаивать не стал. Он запрыгал вниз по осыпи, а я нагнулся и выдернул маховое перо из крыла — для дочери. Она к этому отнесётся легче. Мне почему-то было мучительно труднее уйти и оставить его там одного и мёртвого.

Про всё остальное рассказывать неинтересно. Вернее, тебе интересно не будет. Вечером мы сидели и пили под жареную баранину. Травили байки из склепа — в мою честь. Потом начальник доверительно отозвал меня в сторону и начал расспрашивать, как ему пристроить дочку в наш университет и не платить при этом почти две тысячи долларов в год. Я объяснил. Он начал уговаривать меня стать его протектором, и я пообещал, потому что на самом деле это ничего не стоит, а знакомства с пограничниками в нашей стране всегда ценные.

Ночь я не спал, а где-то там, где мы днём стреляли, выли два волка.

Утром мы без помех улетели в Бишкек.

Вот и всё. Надеюсь, ты дочитал. Многое осталось за кадром, но это пока укладывается в другие тексты. Кроме того, мирные люди, зачем вам знать, как закладывают схроны, можно ли зимой одолеть перевал Ала-Бель на выюках и каково снайперу стрелять в тумане?

Соколиная охота письмо к другу

Прошло всего несколько лет, а от мира этого рассказа не осталось ничего. Только горы, лес и река. Говорят, есть и дом, но в нём поселились другие. Может быть, так и надо?

Человек почти XXI века, я взял тогда с собой свой старенький лэптоп и наколачивал на нём путевые замечания. Завтра у нас по плану будет остановка в месте, где электричество есть, а сегодня мне надо будет успеть, пока не сдохли батареи. Пожалуй, это будет более традиционное письмо, чем то, которыми мы с тобой по новейшей традиции молниеносно обмениваемся.

Мне предложили съездить с телегруппой к старику, живущему на южном берегу Иссык-Куля, который один на всю округу сохранил навыки дрессировки охотничих соколов. Киргизы традиционно дрессируют беркутов, горных орлов, бьющих крупную дичь — зайцев, лис, волков. А вот с соколами у них как-то не выходит. Дед к тому же русский, но всю жизнь прожил в горах с киргизами, в разговоре всё время сбивается на киргизский и как-то сразу становится уверенней и свободнее.

Места эти пленительны. Долина сама называется Джеты-Огуз, что означает «восемь родников». Родники — горячие целебные источники, на которые киргизы некогда съезжались целыми родами; воды облегчали даже боли и суды при вторичном и третичном бытовом сифилисе. Но они лечат не только его. Курорт сам удивительно мил и когда-то был крайне популярен и экзотичен, да и сейчас летом здесь кого только не встретишь. Между двух очень крутых огромных гор, поросших великолепным хвойным лесом, где вовсе не редкость голубые тяньшанские ели Шренка высотой до сорока метров; внизу белый городок, а через всю территорию летит бело-бирюзовая, вспененная, совершенно бешеная речка. Даже сейчас, осенью, когда всё красное и жёлтое, малиновое и лиловое, даже когда босиком уже не пойдёшь, места эти пленительны.

Старик живет сейчас на самом отшибе, и мы заночевали у него. Завтра с самого утра он берёт птиц, коня — мы лошадей наняли в деревне, — и двое суток мои шведские киношники будут его снимать, я же буду переводить и подсказывать и деду и им. Сейчас соколы сидят на насесте, нахохленные, в кожаных колпачках, голодные и сердитые. Но увы. Кормить их перед охотой только дурак будет. Сокол там только один — чеглок, а второй — здоровенный ястреб-тетеревятник, точнее, ястребиха-тетеревятница.

Ещё у деда Николая имеется роскошная азиатская гончая породы тазы — худая, длинноногая, с длинным хвостом и вислыми ушами, пёстрой короткой шерсти. Я небольшой знаток, но экстерьер на редкость чистый. Дед говорит, что за щенками приезжают со всей страны, а новые тюркские так просто выстраиваются в очередь.

Ещё у деда Николая есть конь — молодой мерин, рослый и сильный, флегматичный и послушный. Порода называется старая киргизская. Для неё конь великоват, но в остальном опять же экстерьерен — тёмно-гнедой, два огромных пятна, белое на плече и шее и золотистое на брюхе. Грива почти белая. Может бежать тридцать и более километров. Наши лошадки попроще — будённовские, вороная и соловая. Оператор и ассистент будут в джипе.

Сейчас все поужинали, наглотались витаминов и дрыхнут в своих арктических спальниках. Рамон, оператор, вообще расстелил коримат и улёгся снаружи, под звёздами, сказав, что такого воздуха нет даже в Гренландии. Я на всяких случай обдал его со всех сторон репеллентом; для клещей, пожалуй, холодно, но кто их, сволочей, знает... у меня вон один студентку долбанул, у девочки правая рука до сих пор не работает... Дед побеседовал со мной, расспросил о городе и работе, тщеславясь, прочитал, к полному моему изумлению, огромный кусок из «Евгения Онегина» и тоже ухнул на железную кроватищу с облезлыми никелированными шарами. Я вот жгу фонарь (дисплей без подсветки) и щёлкаю по клавишам.

Если успеем снять всё, что запланировано, я попробую соблазнить их заездом в ущелье Кашка-Суу. Я был там пару раз и... нет, это отдельный сюжет. Скорее всего, не получится; дай бог, чтобы завтра было достаточно солнца и не было ни дождя, ни снега — в горах это происходит молниеносно. А по многим косвенным признакам, включая зудящие рубцы, перемена погод вполне возможна.

Я редко бываю на этом берегу, хотя места безумно красивые и романтичные. Купальный сезон кончается здесь быстрее — тень от горного хребта перекрывает солнце, и вода быстро остывает. В молодости строил тут порушенные землетрясением деревни и участвовал во Всесоюзном слёте студенческих строительных отрядов — событие было потрясающее, вроде карнавала в Рио. Пржевальск, ныне Каракол, крайне интересное место. Но места вокруг него интереснее. Тянь-Шань, Хан-Тенгри, Терской-Ала-Тоо. Куча русских деревень ещё с XIX века, правда, новые патриоты многие попеременивали, но Георгиевка, Покровка, Липенка, Михайловка, Николаевка, Светлый Мыс, Беловодское, Теплоключенка, Семёновское ущелье всё ещё стоят, да и переименованные все зовут старыми русскими именами. Сюда раньше наезжали археографы потрошить наших староверов и их потомков на предмет редких книг и списков. Сейчас, конечно, русских остаётся всё меньше, а молодых так совсем нет...

Пока мы летели от Бишкека, я слушал музыку, чтобы хоть как-то компенсировать чёртов грохот, и всё равно несколько очумел. Шведы мои снимали как угорелые, я комментировал, что они снимают, но потом всё равно будет ещё смотреть професионал, географ и альпинист. Погода была отличная, всё было рыжее, синее, голубое и хрустальное, ледники сверкали как бешеные...

В Пржевальске нас встретил нанятой пазик и повёз дальше. Вот тут я уже вертел головой. Боомское ущелье, по которому едут на северный берег, где все курортные зоны, я знаю наизусть и дальше тоже; а вот всё, что после Орто-Токайского водохранилища, уже хуже. Для тебя это более китайская грамота, чем сама китайская грамота, но и мне тут далеко не всё знакомо. Как странно — ведь, в сущности, крохотный клочок земли, на глобусе спичкой прикроешь...

Хорошо бы показать им яков. Козинцев писал в своих чудных набросках к экранизации «Бури»: «...и яки высовывают свои доисторические, дьявольские морды...» Громадные звери — чёрные, рыжие, серые, пятнистые. Шерсть с боков свисает до земли, до копыт, лошадиные хвосты, буйволовые морды и кошачьи глаза. Рога размахом до метра. У быков — громадные, в основании толщиной с мою руку, на концах сужаются до игл. Свиные, могучие, никого не боятся, но пастухов слушаются, как дети. Если их перегоняют в долину, вниз, рано или поздно заболевают

чем-то вроде туберкулёза и умирают. Живут только в горах, снега им ни почём, а вот жары не любят.

Когда я впервые увидел большое стадо (это было на севере страны, в Нарыне), со мной был француз, писатель и фотограф. Он обалдел — в Монголии и на Тибете они мелкие, а здесь такие чудища. Я-то видел, как они волков убивают; его, козла марсельского, остерёг, а он лезет со своей камерой... Но вдруг он всё понял.

Вышел вожак. Огромный белый бык с чёрными пятнами. Рога те самые, убийственные. Морда розовая, и глаза такие же. Презрительные — донельзя. Мы застыли. Он долго на нас смотрел, потом совершенно громоподобно хрюкнул. Всё стадо разом, как торпедные катера, повернулось и пошло в горы. Француз долго убивался, что и свет не тот и что звери нам не поверили...

Ну вот. Пошли краеведческие заметки. И зажёгся красный индикатор. Батареи садятся. Надо заканчивать, иначе ещё не сохранит, антиквариат чёртов... С девяносто третьего года он у меня, давным-давно снят с производства... Дисковод пристёгивается, блок питания величиной с полбуханки хлеба. Но я к нему привязан и никак не продам коллекционерам, хотя модель довольно редкая.

(Назывался АБС Биком, Мэйд ин Хонконг. Теперь уже давно продал, и именно коллекционеру — хотя он и сейчас бы работал... — А.К.)

Дом хранит — весь. Даже Араз, гончая. Надо бы и мне внести свой вклад.

А сегодня уже утро. Вчера они снимали деда, его соколов и окрестности. Сегодня будут снимать охоту. По идее, мы едем в урочище, где не очень большой лес и можно спугнуть несколько птичек, на крупную дичь я не рассчитываю: волки сейчас в лесу или поближе к стадам, лисы тоже. Рано-рано утром, едва начало светать, мы с дедом ходили к речке, где у него браконьерским образом поставлены сети. Речка бурливая, неглубокая, но очень сильная. В метре от берега, едва до колен, и уже сносит. Ледяная чистейшая вода, просвечиваются багровые, зелёные и белые камни. Деду Николе бог послал восемь форелей средней величины, столько же крупных османчиков и невесть как забредшую сюда маринку. Форели, умирая на воздухе, расцветают алыми пятнышками.

Котёл с раскалённым маслом, рыба выпрошена и брошена в него. По дороге куплено два десятка лепёшек, соты и яблоки, но дед

вчера испёк вкуснейший домашний хлеб с горчицей. Рамон выполз из своего мешка, постоял на четвереньках и отправился чистить зубы. Я велел ему раздеться и осмотреться, но он сказал, что предпочтёт энцефалит. Нежный какой. Бахадур, наш водитель, с закрытыми глазами льёт в бак бензин из канистры. Нильс, режиссёр, и Горстен, второй оператор и звукорежиссёр, ещё спят, но скоро пойду давать им пинка.

Вершины хребта уже горят, впрочем, до нас солнце доберётся ещё нескоро. Да здесь оно нам и не нужно, главное, чтоб в Джергесе было ясно, — там снимать. Ночью, славте господи, прошёл восточный ветер и угнал все тучи на Бишкек, и там сейчас наверняка дождь...

Дед Никола интересуется, чего это я не расстаюсь с калькулятором. Ещё он интересуется выпить под рыбку, но я твёрдо сказал, что после съёмки хоть ведро. Кроме того, водки у нас всего бутылка, взятая с медицинскими целями.

Ну всё пока, седлаем коней, не грусти, до возвращения с дикого поля. По дороге заменю батарейки и продолжу, а в городе уже попытаюсь отправить...

Ура-ура, всё снято! Честно говоря, я дрейфил, что здесь придётся остаться ещё на сутки. Хотя в принципе это блаженство и за лишний день мне всё равно бы заплатили, но у меня дела в городе, и я не хотел бы заставлять людей нервничать.

Значит, по порядку. В Джергесай мы добрались по перевалу, мой мерин спал по дороге и едва не поскользнулся там, где на тропу из скалы вытекал родник. Камчи (это плеть) у меня не было, но я тут же срезал стек потолще и слегка его взбодрил.

Гончую, чтобы не устала, дед определил было в пазик, но Нильс, естественно, захотел снять охотника с собакой, и деду пришлось её везти. А на руке у него сидела ястребица в колпачке, вкогтившись в толстую кожаную рукавицу. Вырядили старика в киргизский чапан и ак-калпак, для маскировки калпак надел и я. Удобная штука, кстати, что зимой, что летом.

В Джергесе шведы сразу начали снимать, потому что места славные и много ещё осталось зелени. Всё было в росе, сверкало и дымилось. Потом они начали гонять деда туда и сюда, снимать разные проходы и проезды, я сидел на своём мерине и командовал, вернее, переводил. Наснимав достаточно, они

потребовали начать охоту. Дед, умотанный, потребовал чаю. Он решил, бедный, что ему тут достархан раскинут, но шведы налили ему из термоса кружку, плеснули туда коньяку, дождались, пока он допил, и скомандовали: «Вперёд!..»

Тут я, честно скажу, поволновался. Гончая носилась по кустам, спугивала всякую мелочь, но ни одной стоящей птицы или зверя. Уже собака в раж вошла, а добычи никакой. Начали волноваться и шведы, я подъехал к Бахадуру, так как он отвечает за исполнение контракта и все лицензии были у него, и Бахадур сказал, что если ничего не выйдет, придётся ехать в джерганаки, заросли дикой облепихи, и искать фазанов. Везти туда деда с птичкой и организовывать всё там заново. Это означало, что нам придётся пилить вниз, чуть ли не до самого Иссык-Куля....

Деду явно не хотелось терять заработок, но и вниз тоже не хотелось. И по этой причине у него произошло обострение ума. Он предложил добраться до Ала-Куля, это такое небольшое озеро, где гнездится птица и отдыхают перелётные. Я выразил сомнение, что гончая сможет с водоплавающими управиться; дед радостно заверил, что у него собачка дошлая, всё может! Шведы посовещались и согласились. Караван двинулся. Мой мерин чего-то разыгрался, решил догнать джип, а я мечтал только об одном — чтобы он не угодил в яму ногой. Седалище, как сейчас выясняется, всё равно поотшибалось, копчик просто звенит, но проехались мы с удовольствием.

Час добирались до озера жуткой дорогой и ещё со спуска увидели уток, плавающих у берега. Озеро и вправду невелико, заросло камышом, удобные для гнездовок берега, невдалеке скалы, и на них гнездятся скальные голуби.

Дед распутал ястреба, шведы начали готовить аппаратуру — и тут пришла туча. Все озверили мгновенно. Хуже этого мог быть только буран. Мы откатились за гряду, чтобы не попугать птицу, привязали пса, который рвался передушить всю дичь, и стали дожидаться солнца. Слава богу, дождались.

Выехали на позицию, дед послал пса, и тот поднял уток, кормившихся у берега. Заполошно, с хлопаньем и кряканьем, они метнулись в камыши, но пёс выгнал их и оттуда, и они кинулись в сторону от озера. И вот тут дед спустил ястреба.

Он рванул как пуля. Утки заметили его поздно и рассыпались было, но он мгновенно сшиб трёх. Летел пух, видно было брызнувшую кровь. Потом догнал ещё двух почти над

самыми нашими головами и тоже сшиб. Тут я разглядел, как он это делает: оказывается, не клювом, а мощным задним когтем — пикирует и разрезает спину или бок будто ножом.

Дед стегнул коня и помчался подобрать добычу, а мы помчались следом. Ястреб уже сидел на одной утке, шипел, клекотал и готовился её рвать. Шведы снимали, вопя от восторга, и не давали деду взять птичку. Дед выматерился, сказал «спортят птицу, суки!» и взял ястреба на рукавицу. Тот шипел, хлопал крыльями, но покорился. Дед подобрал уток, а пёс притащил ещё двух. И только дед собрался кидать их в мешок, а одну выпотрошить и покормить ястреба потрохами, даже нож вынул, как из тростников вырвались и низко-низко понеслись над озером три здоровенных гуся. Полминуты, и они бы ушли в скалы.

Но дед просто швырнул, как камень, ястреба им вдогонку, и тот помчался, по-моему, ещё быстрее. Двое ушли, а одного ястреб срезал, и тот шлёпнулся в воду довольно далеко от берега. Гончая, естественно, в воду лезть отказалась, это вам не спаниель какой-нибудь. Дед на неё рычал, а она скулила и не хотела, а дед от жадности просто перекосился. Бахтияр вытащил из инструментного ящика кусок проволоки, выгнул из него подобие кошки и навязал кусок репшнуря. Меня интересовало главным образом, потонет гусь или нет. Но они успели зацепить его с первого броска и вытащили на берег. После чего дед плюхнулся на травку и сказал, что всё, джатабыз, то есть отдыхаем. Шведы не стали возражать, потому что наснимали достаточно. Рамон позвал меня с собой, и мы пошли к скалам, забрались на вершину по уступам, и на той стороне открылась крошечная, густо заросшая всеми возможными горными цветами долина. Теперь от жадности перекосило Рамона, и он полез вниз, а вниз оказалось спускаться жутко трудно, и я уже матерился про себя.

Мы всё-таки спустились. Я сразу лёг, а Рамон принял снимать цветы, виды, валуны, заросшие многоцветным лишайником, и вообще всё возможное. Потом мы увидели орлиное гнездо, и ему понадобилось туда, но я возвзвал к его экологической сознательности и объяснил, что оттуда мы точно сорвёмся — метров семьдесят, верёвки мало, ни единой зацепки и над самым каньоном.

Час мы обходили скалы, переправлялись через речку, Рамон стонал, что у него от холода остановится сердце, а я над ним издевался и утверждал, что он ещё помучается, заработав сперва простатит.

Когда мы вышли, честная компания уже вовсю жрала и выпивала. Нам оставили еды, но меньше, чем мы заслужили. Зато никто не знал, что у меня с собой четыре бутылки «Вазисубани», и потому их делили уже честно. Деду отдали весь коньяк. А я оставил ему аварийную водку — перцовка, «Последний бой» называется. На этикетке изображён Манас с трёхметровым мечом. Дед, похоже, в этой битве падёт.

Остаток дня мы выбирались из ущелья и отвозили деда, потому что на лошади он уже не держался. Бахтияр довез нас до гостиницы, где я и пишу ныне. Достопримечательности Пржевальска их не волнуют, памятник великому путешественнику они сняли ещё по дороге сюда и собираются подмонтировать к фильму про Тибет. Завтра в пять утра нас забирает вертолёт, и мы летим в Бишкек. Честно отработавших своё шведов я повёл в дунганский ресторан и накормил всеми блюдами и салатами, а напились они сами. Я их уже загрузил в кровати. У меня отдельный номер, и я предупредил администратора, что если с ними что случится, то в милицию я не пойду, а позвоню... и тут я произнёс имя, заставившее администраторшу слегка привздрогнуть. Через час выглянул в коридор, а в нашем холле сидит серьёзный джигит и говорит мне, чтобы я не волновался, всё будет хорошо...

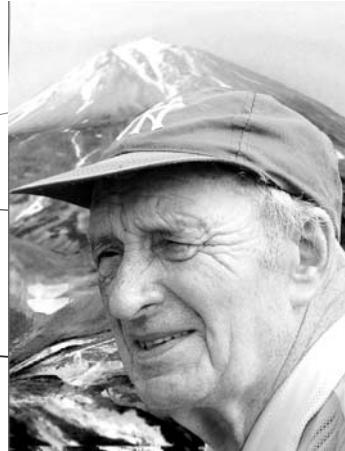
Это всё. Надеюсь, долетим мы без проблем. Пара вертолётов уже гигнулись...

А это мы уже долетели. Без проблем. Опять полная кабина пограничников и российских миротворцев. Они не сомневались, что и я тоже швед. Один майор попытался говорить со мной по-английски, а потом спросил, понимаю ли я по-русски. Я понимал, и он мне сделал комплимент, что я хорошо знаю русский. А тебе жалко. Даже майор признал. Переводчики некоторые считают, что я его вообще не знаю.

Наверное, тебе скучно, анекдоты интереснее, но ей-богу, это куда восхитительнее. Видеть такое — настоящее счастье, даже когда солнца нет и наползает туман и путается в арчовнике. Арча — это горный можжевельник, древовидный, с густым смолистым запахом. В историческом музее есть девятисотлетняя мумия молодой женщины, которая уцелела только потому, что была похоронена в арчовом гробу, а древесина эта обладает мощными бактерицидными свойствами... Не всем женщинам я бы желал такой долгой жизни по такому рецепту.

Про эту охоту я не вспоминал уже лет двенадцать. Почему сейчас? Потому что никогда не увижу этого снова. Могу только написать. Прощай, дед. Прощай, сырая тропа с красным песком, усыпанная тёмной хвоей. Прощай, саманный дом под голубыми елями. Прощай, недовольный ястреб на старой кожаной рукавице. Утренний туман растягивается, но за ним — больше ничего.

Алан КУБАТИЕВ (псевдонимы — А. Воеводин, Тимур Туганов) родился в городе Фрунзе в 1952 г. Закончил факультет иностранных языков Киргизского государственного университета имени 50-летия СССР, затем учился в аспирантуре филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук, прозаик, переводчик с английского, критик, антологист, литературовед, журналист, преподаватель. Считается ярким представителем так называемой «четвёртой волны» в отечественной фантастике. Переводился на немецкий, польский и эстонский языки. Печатался в журналах «Памир», «Сибирские огни», «Литературный Киргизстан», «Если», «Полдень, XXI век», «Реальность фантастики». Автор книг «Ветер и смерть: Повести и рассказы» (СПб.: «Азбука-классика», 2005); «Джойс» (серия ЖЗЛ, «Молодая гвардия», 2011). Переводы: «Безумная Луна» (составитель и переводчик, 1990), «Страх Божий» Г. Уэллса (1996), «Кровь цветов» А. Амиррезвани (2009), стихи Р. Фроста, Дж. Джойса, У. Б. Йейтса, ирландские народные баллады. Лауреат премий: «Странник» (2002), АБС-премии (2005), «Бронзовая улитка» (2003, 2006), «Золотой кадуцей» (2005), премии журнала «Полдень, XXI век» (2006). Живёт в Кронштадте, преподаёт в Институте специальной психологии и педагогики им. Рауля Валленберга, занимается литературной и переводческой работой.



Виктор Плавнев

Линкор «Марат»

Витъка Ланов возвращался в воскресенье из молдавского районного городка Чимишлия. Уже почти месяц, как семья осваивалась в расположеннном неподалёку живописном селе Екатериновка. Год назад здесь жили немецкие колонисты, а с весны 1941 года на месте колонии образовали совхоз. Родители переехали сюда из Херсонской области по оргнабору, имея престижную и совершенно неизвестную среди местного населения специальность трактористов-комбайнёров.

Полный впечатлений от воскресной ярмарки, Витъка сидел на брезентовых тюках в кузове новой полуторки и рассеянно смотрел на покрытые разноцветными всходами пологие холмы Гагаузии. Перед глазами ещё стоял калейдоскоп ярких запомнившихся картинок. Вот стайка чернобровых смешливых девушки в красно-бело-синих лентах и с монистами на шее медленно движется вдоль низких глинянебитных заборов по одной стороне улицы. По другой в ту же сторону подвигается группа черноусых парней в вышитых рубахах из тонкого шёлкового полотна ручной работы и в синих шароварах с красными поясами. Громкий смех, задорные шутки, быстрые, многозначительные взгляды...

И непрерывное щёлканье жареных подсоленных хухов. Шелухой засыпаны тротуары, а ближе к базарной площади — сплошь все улицы. Вот одно- и пароконные карузы в тени акаций — сидящие на них строгие матроны в пёстрых кофтах и необъятных юбках сердито покри-

кивают на загорелых до черноты голопузых детишек. Вот длинные ряды огромных стоведёрных бочек, меж которыми, пошатываясь, бродят любители «попробовать», а проще — выпить на дармовщину терпкого молдавского вина, приятно освежающего в летний зной. Пёстрые ткани на прилавках, игрушки, леденцы, блеяние овец, гусиный гогот, громкие возгласы и хлопанье по рукам, настойчивые предложения цыганок «позолотить ручку» в обмен на предсказание судьбы...

Многоголосие и цветовые контрасты южного базара поначалу ошеломили Витъку. Но присутствие отца, отведавшего вина из нескольких бочек и купившего расписной ведёрный бочонок в качестве красивого и практичного сувенира, придавало Витъке уверенности.

Ко времени встречи с матерью и старшей сестрёнкой, которые ходили смотреть ряды домашней утвари, он уже вполне освоился и выбрал себе картуз с синим околышем и твёрдым козырьком, напоминающий морскую форменную фуражку.

Сейчас Витъкины мысли были заняты решением задачи, как пристроить к картузу нечто такое, что могло бы сойти за кокарду. Да что проку в морской фуражке, даже с большим якорем и звездой, если в Екатериновке слыхом не слыхивали не только о военном корабле, но даже о катере или пароходе? Вот если бы большой пруд или озеро!

Задумчивый взгляд на мгновение остановился на глинистом берегу почти пересохшей

степной речушки Идрицы, причудливо извивающейся между посевами рапса, кукурузы и подсолнечника и местами подходящей прямо к садам Екатериновки.

— Есть, нашёл! — мелькнула радостная, ещё не до конца оформившаяся мысль.

Вот она, настоящая идея. Специально подобранный экипаж строит корабль и — отправляется в поход. Витька ясно представил себя на капитанском мостике — громким голосом он отдаёт команду готовиться к бою. За дело надо приниматься немедленно. Главные организационные вопросы должны быть решены завтра на большой перемене между вторым и третьим уроками. Из своего пятого класса он наберёт основных помощников — штурмана, боцмана и рулевого. Механиков, которые должны сидеть под палубой и крутить винт, лучше взять из четвёртого, чтобы не ссориться со сверстниками, которые могут и не согласиться пойти на невидимые с берега должности.

Неделя напряжённого труда — и в субботу, в крайнем случае в воскресенье, спуск корабля на воду. Короткое прощание с родными и, под завистливые взгляды остающихся на берегу мальчишек и девчонок, — в дальнее плавание! Сначала до ближнего отделения совхоза, села Кошары, а потом дальше и дальше, до самого Прута, куда, как говорили молдаване, впадает Идрица.

Почти зrimo представились картины сражений, в которых экипаж под защитой высоких бортов метко поражает комьями сухой глины скопившихся на берегах слабо защищённых мальчишек соседних сёл, дерзкие прорывы сквозь хворостяные, возможно даже горящие запруды, опасные манёвры прохождения под низкими мостами...

Сразу после ужина Витька заявил, что идёт спать, чем изумил всех домашних, так как обычно стоило немалого труда заставить его лечь в постель раньше родителей. Предстояло обдумать ответственные вопросы: размеры и внешний вид корпуса, рулевое устройство, конструкцию двигателя и массу прочих задач, возникающих, как известно, перед всеми кораблестроителями. Немаловажным делом было придумать название корабля, соответствующее предстоящим свершениям.

Назавтра, едва дождавшись конца второго урока, Витька увлёк в дальний угол коридора черноглазого худощавого молдавского мальчика Иону. Среди других учеников пятого класса Иона выделялся большой сообрази-

тельностью и, главное, умением разговаривать на той смеси украинского и русского языков, которая так характерна для южных областей Украины, где вырос Витька. Помимо должности штурмана, Ионе предназначалась важная роль переводчика в общении с молдавскими школьниками и особенно их родителями, в подавляющем большинстве не знающими ни русского, ни украинского языка.

Иона мгновенно поддержал идею, и через две минуты на обложке тетради по арифметике был составлен список членов экипажа. Боцманом был назначен медлительный увалень Михай, а рулевым — похожий на девочку синеглазый сын заведующего хозяйством совхоза Андрей. Механиков Иона обещал завербовать на следующей перемене.

Отобранные в экипаж были немедленно разысканы в кустах пришкольного сада, где они с рогатками охотились на воробьёв, и извещены об оказанной им чести. Узнав, что самые высокие должности уже заняты, боцман и рулевой безропотно согласились исполнять свои будущие обязанности. На третьей перемене Иона без труда нашёл двух механиков, и таким образом экипаж был укомплектован.

После уроков все собрались в опустевшем классе. Витька нарисовал на доске мелом нечто, напоминавшее оставленную им на Днепре рыбачью лодку, но с трубой, двумя мачтами, флагом и торчащей из носа пушкой. С общего согласия корабль было решено именовать линкором с названием «Марат», хотя из присутствующих линкор видел на картинках только капитан (теперь уже командир экипажа). Механики, боцман и штурман оба слова слышали впервые.

Перешли к вопросу о строительстве. Идею построить линкор из железа отвергли сразу. Грохот, которым должны были сопровождаться работы с кусками жести, выдал бы место верфи, что, по мнению большинства, привело бы к её немедленной ликвидации. После некоторой заминки Андрей вспомнил, что на хоздворе у самого забора за складом конно-гужевых изделий лежат штабеля досок и круглого леса, приготовленных, как говорил ему отец, для строительства зернотоков в полевых бригадах. Если вечером осторожно раздвинуть штакетник, то можно натаскать сколько угодно досок так, что дремлющий в будке у ворот сторож ничего не заметит.

Михай предложил строить линкор на чердаке конюшни, примыкающей к его дому. Конюшня временно использовалась как загон

для овец, в ожидании карузы и пары лошадей — мечты родителей Михая.

Приняв эти важнейшие решения, мальчики разбежались по домам, условившись начать работу завтра после обеда. Во избежание расспросов со стороны родителей Михая и двух его старших сестёр пробираться на верфь предлагалось со стороны сада через заросли конопли и крапивы.

На другой день, проглотив кое-как суп и дожёвывая на ходу котлету, Витька помчался к Михаю. Весь экипаж уже был в сборе и с нетерпением ждал начала стройки. Во дворе, прикрытие лопухами и коноплём, лежали полтора десятка длинных сосновых досок, которые притащили накануне вечером Михай с Андреем. Тут же были топор, ножовка, ящик гвоздей, рубанок и две банки масляной краски.

Никто из членов экипажа не имел ни малейшего представления, с чего начинать строительство, однако признаваться в этом первым никому не хотелось.

Для начала, чтобы затащить шестиметровые доски на чердак, пришлось разобрать потолок конюшни между двумя несущими балками. К чести командира и штурмана, они держались вполне уверенно и сразу стали отмерять школьной линейкой на глиняном полу чердака длину и ширину корпуса, закрепляя крайние точки контура деревянными колышками.

Несмотря на страстное желание увидеть красивые обводы грозного военного корабля, после нескольких часов вдохновенного труда на чердаке появилось шестиметровое сооружение, которое отличалось от деревянных корыт, что устанавливают у степных колодцев для водопоя, только заострёнными концами и встроенной в средней части прямоугольной коробкой. Со смешанным чувством удовлетворения — начали же! — но и смутного недовольства итогами первого дня строительства возвращался Витька домой. Тёплый июньский вечер опускался на село.

Увлечённый приключением, Витька не обращал внимания на как-то незаметно поселившуюся в доме тревогу. И сейчас, войдя в большую комнату, он не сразу понял, о чём шёл разговор родителей, доносившийся из спальни.

— Ну, ты не особенно прислушивайся, мало ли о чём бабы языки чещут, — в голосе отца почему-то не чувствовалось обычной спокойной уверенности.

— Да что ты, Ваня, все молдаване только и тараторят между собой, что через неделю вернутся колонисты и румынские бояре и перережут всех приезжих коммунистов, как свиней! Может, хоть детей отправим к бабушке Варе, всё спокойнее будет?

— Но было же неделю назад разъяснение в «Правде»! А потом, если что, поедешь вместе с детьми, меня всё равно в армию заберут.

Увидев стоящего в дверях сына и поняв, что он слышал весь разговор, мать растерялась и беспомощно оглянулась на мужа.

— А вот и степной моряк появился, да ещё голодный, наверное. Дай ему покушать, мать, а потом послушаем, скоро ли он возьмёт меня на Прут на рыбалку. Говорят, там тоже сомы водятся, — отец попытался шуткой заслонить предыдущий разговор. Поражённый его осведомлённостью, давая себе слово завтра же выявить и наказать доносчика, Витька отнёсся к услышанному ранее, как к чему-то не имеющему к нему прямого отношения. Песня «Если завтра война...», которую часто распевали в школе, звучала без какой бы то ни было тревоги, — так же, как «По долинам и по взгорьям...», «Каховка», «В степи под Херсоном» и другие песни времён Гражданской войны. Он спокойно усёлся готовить уроки на завтра.

Последующие четыре дня строительство продвигалось с большим трудом. То оказывалось, что для надёжного скрепления днища с бортами нужны изогнутые под прямым углом железные полосы с пробитыми в них дырками, то выяснялось, что для крепления мачт надо на днище делать специальные крестовины, то недостаточно возвышался над бортом капитанский мостик, то не хватало места для размещения механиков хотя бы в полусогнутом состоянии... Наконец, к вечеру пятницы строительство линкора было завершено. На трубе была нарисована большая красная звезда, а на борту белой краской выведена надпись МАРАТ.

Перед тем как разойтись, довольные ребята договорились собраться завтра до обеда и спустить линкор на землю. Хитроватый Иона предложил сообщить родителям (которые, конечно, обо всём знали), что спуск будет в полдень, а на самом деле осуществить его на час раньше, чтобы показать своё творение уже на земле во всей его красе. Для выполнения операций по спуску экипаж разделился на три группы. Михай и Андрей оставались внизу — их задача была подставить под лин-

кор самодельные козлы как промежуточную опору. Механики должны были поддерживать носовую часть верёвкой и, потравливая её, выполнить собственно спуск. Витька с Ионой на верху осуществляли общее руководство и подстраховку механиков.

Когда половина корпуса уже вошла в дыру в потолке, оставшаяся часть потолка медленно начала проседать. Механики схватились руками за стропила и стали перебираться на более устойчивое место, ослабив натяжение верёвки. Верёвка заскользила по ровному днищу и переместилась к середине корпуса.

— Переставляй козлы! — крикнул Андрей и бросился выполнять собственную команду. — Держите верёвку! Разбегайтесь внизу!

Взволнованные возгласы мальчиков привлекли внимание сестры Михая Марицы, которая с испугом смотрела на происходящее через полуоткрытую дверь конюшни. Иона и Витька навалились на корму, чтобы хоть как-нибудь замедлить падение линкора. Но было уже поздно. Свалив козлы, носовая часть рухнула в дальний угол конюшни. Перепуганные овцы, перепрыгнув через загородку, выскочили в открытую дверь, чуть не сбив с ног Марицу и Андрея.

Не удержавшись от сильного толчка на вертикально вставшей корме, Витька и Иона полетели вниз. Упав на покорёженный капитанский мостик и крепко ударившись головой о трубу, оглушённый Витька сначала почти ничего не различал сквозь тучу пыли и мусора, сыпавшегося с потолка. Затем он увидел неестественно вывернутую руку Ионы и услышал его сдавленный стон. Ноги мальчика были зажаты между бортом и центральным опорным столбом конюшни. Общими усилиями перепугавшиеся мальчики освободили всхлипывающую Иону и сбились в кучу, бросая друг на друга растерянные взгляды.

Даже беглого осмотра было достаточно, чтобы убедиться в непригодности «Марата» к завтрашнему походу. Труба была сломана, капитанский мостик перекосился, сильно сместившись вперёд. Две доски выскочили из крепления на корме и теперь торчали под острым углом к корпусу, как лишённые перьев крылья большой птицы. Однако хуже всего было зрелище быстро распухшей в области плеча Иониной руки. Члены экипажа под разными важными предлогами один за другим выскользнули из конюшни и разбежались по домам. Витьке тоже хотелось уйти. Было совершенно ясно, что не удастся избежать труд-

ного разговора с родителями Ионы. Судьба линкора становилась труднопредсказуемой. Мать Михая вполне могла пустить корабль на дрова или приспособить в его качестве бассейна для гусей и уток.

Мало хорошего сулило и объяснение дома. Несмотря на случавшиеся иногда мелкие обманы родителей, Витька не допускал мысли скрыть все подробности, не умаляя ни своей роли в затее, ни вины за печальный финал.

Невесёлые мысли прервало неожиданное появление старшей сестры Натальи, которая пришла звать его обедать. Увидев распухшую руку Ионы, Наталья без каких бы то ни было расспросов повела обоих мальчиков в комнату, куда буквально вслед за ними вбежала вместе с Марицей перепуганная мать Ионы. Перебивая друг друга, Витька и Иона рассказали о случившемся родителям членов экипажа, невесть каким образом быстро собравшимся в комнате. Послав Марицу за фельдшером, мужчины вышли покурить. Женщины раздели Иону, уложили на высокую кровать и наперебой стали советовать его матери разные чудодейственные средства лечения испуга, переломов, вывихов, сотрясений мозга, заворотов кишок... Голосистее всех оказалась сорокалетняя молодящаяся мать Андрея. Полагая себя, по должности мужа, самой важной из присутствующих, она безапелляционным тоном обещала разобраться с зачинщиками, а возможно, и с «вредителями», подавала разные, большей частью ненужные команды занавесить окна, поднести пол полынным веником и прочее.

Мучительно страдая от бес tactности матери, Андрей с влажными от слёз глазами прятался за спинами товарищей.

Приход фельдшера приостановил галдёж и суetu. Объявив, что кроме вывиха и сильного ушиба ничего страшного нет, фельдшер распорядился положить на больное место холодный компресс, оставить мальчика до вечера в постели и проветрить помещение, тем самым вежливо предлагая закончить затянувшийся самозваный консилиум.

Тем временем мужчины, осмотрев повреждённый «Марат» и найдя его вполне поддающимся ремонту силами квалифицированных плотников, пообещали ребятам в понедельник отремонтировать корабль в столярной мастерской, покрасить и даже привезти на берег Идицы. Совсем было упавшие духом моряки взмыли на седьмое небо от счастья.

В конце концов всё выходило хорошо. Не стало помех увлекательному проекту, превратившемуся в достояние всей Екатериновки.

Но помеха уже ждала в кабинах самолётов, на артиллерийских позициях, на понтонах на противоположном берегу Прута в восемнадцати километрах от села. Через три-

надцать часов грохотом бомб и снарядов, лязгом танковых гусениц, треском автоматных очередей она вычеркнула из действительности не только детские мечты, но и сами жизни миллионов людей, в том числе, как Витька потом узнал, и двух членов экипажа славного линкора «Марат».

Виктор Плавнев — конечно, псевдоним. Мальчишкой Владимир Иванович Ламанов (1929–2012) грезил о морях и океанах, мечтал служить стране офицером флота, да подвела строка в биографии — «детство на оккупированной территории». Но мечта всё же переупрямила обстоятельства. Окончив Ленинградский гидрометеорологический институт, стал инженером-океанологом, как один из отличников курса получил назначение на Камчатку. Через шесть лет переведён в Клайпеду — на реорганизацию Гидрометеобюро и строительство гидрометобсерватории. «Воспользовавшись служебным положением», добился, чтобы обсерватория стояла в центре Клайпеды, а не за пределами города. Еще шесть лет отдано Сахалину, где до сих пор коллеги неизменно поминают добром бывшего начальника Сахалинского управления гидрометслужбы.

Перелом в карьере (В. И. Ламанова прочили на пост заместителя начальника Главного управления Гидрометслужбы СССР) произошёл после трагической гибели у берегов Сахалина в 12-балльный штурм экспедиционного судна «Гидролог». На начальника Сахалинского управления была возложена вся полнота ответственности за гибель судна, его исключили из партии, понизили в должности и решением суда обязали выплатить материальную компенсацию за причинённый государству ущерб. После снятия с должности начальника управления работал наблюдателем в ледовой разведке: на самолёте Ил-14 совершал полёты на разведку ледовой обстановки в Охотском море. Затем продолжил работу в гидрометеослужбе в должности начальника Центра океанографических данных в Обнинске. В мире работает три центра океанографических данных международного уровня: в США, России и Китае. У истоков создания советского, а теперь российского стоял В. И. Ламанов, вложивший в создание отечественного центра весь свой научный и административный талант. После ухода на пенсию — практически до конца своих дней — продолжал сотрудничество с центром как внештатный сотрудник.

Прирождённый лидер, талантливый руководитель и администратор, кандидат географических наук, неутомимый путешественник, по обстоятельствам службы и жизни встречавший множество людей, он об этих встречах умел замечательно рассказывать, всякий раз как будто заново вместе со слушателями удивляясь судьбам, поступкам, характерам своих героев. Талант рассказчика и талант писательский не всегда совпадают, но возможные огрехи литературного свойства в данном случае с лихвой искупают присутствие высшей стилистической цельности — цельности незаурядной личности, детской непосредственности души...



Игорь Кузнецов

Три пути, не считая тупикового: старец, философ и писатель в Гефсиманском скиту

Обретение могил

«Любовь к отеческим гробам», к которой усердно призывал Пушкин, была порядком растрячена революционными потомками. Коснулось привычное небрежение и некрополя Гефсиманского Черниговского скита в Сергиевом Посаде. Уже в 1927 году «чугунный памятник К. Леонтьева опрокинут, центральная часть его с надписью выбита. Очертаний могилы Розанова на земле почти не было заметно». Монастырское кладбище засыпали со временем землём, а могилы затоптали.

Ещё большие «потрясения» ожидали останки старца Варнавы, мирно покоившегося в пещерной Иверской часовне. После закрытия скита в 1921 году ему пришлось «кочевать» по разным городским кладбищам, пока в 90-е годы его святые мощи вновь не обрели покоя в скитском храме Черниговской иконы Божией Матери. Чуть раньше были восстановлены могилы Константина Леонтьева и Василия Розанова.

Как «сошлись» в этом святом месте русского пространства столь разные, казалось бы, люди? Народный духовник, преподобный старец Варнава Гефсиманский, консервативный философ, дипломат, цензор, тайный монах Константин Леонтьев и один из самых парадоксальных русских писателей Василий Розанов, которого едва не отлучили от Церкви как «явного еретика».

Русская Гефсимания

Если Новый Иерусалим есть русское подобие земного и небесного града, то Гефсиманский скит прообразом своим имеет евангельский сад — место предсмертного моления Христа и Успения Богоматери.

Основанный в середине XIX века при Свято-Троицкой Сергиевой лавре, в трёх verstах от её стен, он чуть позже «продолжился» ещё более уединённым Пещерным отделением, получившим название Черниговского скита.

Ныне от Гефсиманского скита остались лишь стены с башенками и монументальные ворота с проходной, ведущей на закрытую территорию. Перед запертыми воротами в угловом тупичке стоит монументальный памятник святителю Николаю с мечом и несколько нелепой надписью: «Создателям ядерного щита России». Наверное, она должна подсказывать всем шпионам, что за бывшими Гефсиманскими стенами — ядерный «скит» Центрального физико-технического института Министерства обороны. Особо посвящённые знают, что командует им настоящий контр-адмирал, хотя и никакой акватории, кроме несудоходных прудов, поблизости тут нет.

Черниговскому скиту повезло больше. Хотя и он за годы советской власти успел послужить тюрьмой-колонией для «уголовного элемента», интернатом различного типа, а в



Домик Варнавы

соборе Черниговской Божией Матери располагался склад. В начале 90-х годов часть скита была возвращена Лавре, и здесь вновь продолжается иноческое житие и служение.

Теперь он называется Гефсиманским Черниговским скитом, объединив в себе имена двух прежних обителей.

«Они сошлись...»

Преподобный Варнава (Меркулов) родился в 1831 году.

В молодости он стал послушником, но лишь через десять лет принял монашеский постриг и с этого времени нёс подвиг старчества, особого духовного подвижничества.

Он был официально утверждён в звании народного духовника Пещер Гефсиманского скита, каковым на самом деле уже являлся «по факту». К его деревянному домику-келье за благословением приходили паломники со всей России. В день, бывало, он принимал от 500 до 1000 человек. Обладал не только даром утешителя, но и прозорливца — часто наперёд знал, что с человеком будет и как ему жить — поступать. В знаменательном 1905 году его посетил Николай II. По легенде, старец предрёк ему и семейству мученическую кончину и благословил на неё.

Его трогательный портрет оставил нам Иван Шмелёв в «Богомолье»: «И кажется мне, что из глаз его светит свет. Вижу его серенькую бородку, острую шапочку — скуфейку, светлое, доброе лицо, подрясник, закапанный густо воском». Бедным он помогал за счёт своих богатых «деток», а ко всем без разбору обращался как к «сынкам» и «дочкам». По многим свидетельствам чувствуется, что был он человеком чрезвычайно жизнерадостным и даже весёлым. Скончался преподобный Варнава в 1906 году в церковном алтаре перед престолом, с крестом в руках. Уже в постсоветское время причислен к лику Радонежских святых.

Среди «духовных чад» старца был и его ровесник Константин Леонтьев.

Он служил военным врачом во время Крымской войны, по дипломатической части. Однажды ударил хлыстом французского консула за оскорбительный отзыв о России. Дипломатическую карьеру прервал, впрочем, не этот поступок, а неожиданная болезнь. Леонтьев дал обет Богородице, что, если болезнь отступит, он станет монахом. После выздоровления отправился на Афон, где прожил около года, но местная братия от монашеского пострига его отговорила.

Леонтьев-философ и публицист стоял за «византийский» путь России, под которым понимал сочетание церковности, монархизма, сословной иерархии, и за союз с Востоком в качестве средства от революционной заразы. Ратовал за то, чтобы «подморозить Россию», дабы «не гнила». И вообще слыл человеком крайне правых взглядов, что было немудрено в тогдашней леворадикальной России.

Переселился в Оптину пустынь, сняв дом у монастырских стен. Перевёз туда старин-



ную мебель из родового имения, библиотеку и почти четыре года жил этаким барином-отшельником. Лишь в августе 1891 года исполнил обет, приняв тайный постриг под именем Климент. По наставлению оптинского старца Амвросия отправился в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, чтобы поступить в число её братии. Но, видимо, его земной человеческий долг был уже исполнен — вскоре он простудился и умер в ноябре 1891 года. Похоронили Константина Леонтьева с северной стороны храма Черниговской иконы Божией Матери.

Со своим младшим современником Василием Розановым (родился в 1856 году) в последний год жизни Леонтьев состоял в активной переписке.

По собственному признанию, в лице Розанова Леонтьев нашёл человека, понимающего его сочинения именно так, как он хотел, чтобы их понимали. После смерти Леонтьева

Розанов посвятил ему многие статьи, первым назвал его «русским Ницше».

От самого Розанова любые чёткие определения отскакивают как от стенки горох. Уж очень он был неоднозначен. Под собственным именем и множеством псевдонимов (числом до сорока) умудрялся одновременно писать в издания противоположного идеиного толка.

Его «всеядность» объяснялась не «путаницей мыслей», а причинами отчасти вполне бытовыми. Намыкавшись учителем в провинциальных гимназиях и недолго послужив чиновником, он с 90-х годов стал профессиональным писателем, зарабатывая на жизнь исключительно литературным трудом.

Розанов с семьёй переехал из Петрограда в Сергиев Посад в 1917 году, элементарно спасаясь от голода. Здесь он успел написать своё самое страшное произведение «Апокалипсис



Могилы Розанова и Леонтьева

нашего времени»: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историою железный занавес. Представление окончилось. Публика встала. — Пора надевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Ни шуб, ни домов не оказалось».

Холодной и голодной зимой 1919 года Розанов бедствовал невыносимо. Лежал, не вставая, и только повторял: «Холодно, холодно, холодно». Но, как вспоминала младшая дочь, «смерть его была чудная, радостная». В мир иной он отошёл 23 января (5 февраля) 1919 года как настоящий христианин. Похоронили его по соседству с Константином Леонтьевым. В жизни они так никогда и не встретились.

Теперь все они рядом. Три пути сошлись.

Игорь Кузнецов родился в 1959 г. Окончил Литературный институт имени Горького в 1987 г. (семинар прозы Анатолия Кима). В Союз писателей был принят по рукописям в 1989 г. Живёт в Москве. Публикации в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Смена», «Ясная Поляна», «Литературная учёба», «Московский вестник», в «Литературной газете», газете «Сегодня». Автор книги «Бестиарий» с иллюстрациями Татьяны Морозовой (М., 2010). Составитель нескольких изданий И. А. Гончарова (биография, комментарии). В соавторстве с Татьяной Морозовой (под общим псевдонимом Павел Генералов) написаны «Бригада: история создания сериала», романы «Команда. Хроника передела 1997–2004», «Просто быть богом: ВВП».



Ольга Орлова

Два письма

Письмо маме

...Ты права, дорогая, права — и слишком!
Как это горько. Рано. Жестоко...
Там птенцы не живут на деревьях, как в книжках,
А прячутся в трубных ветвях водостока.
Там я умею бегать — дай боже! —
До свиста в ушах и сверканья пяток,
И нет никого для меня дороже
Joe и Булата с сорокапяток.
Я бросаю горстью — подумать жутко! —
Анечке Павловой, лепящей мостик,
Песок в глазки и в малиновых джунглях
Голошу за сараем от ремня дяди Кости.
И пьющий Витя — земля ему пухом! —
Идёт на крыльцо, как траву прогреет:
— Чижик проснулся! — терпя над ухом
Децибелы моих ежеутренних трелей.
Там, за штакетной рыжей калиткой,
Масло и мёд, и вечно простужена...
И, зуб обвязав суровою ниткой,
Рву и хвастаюсь дыркой за ужином.
Умираю от зависти, потому что соседи
Купили щенка — врастопырку ушки.
И прибить бы Лёшку Черняка-вредину,
Который в канаве резал лягушку.
И травинкой в земле копаться,
Пока не скроется жук из виду.
А ночью через забор — купаться
С Егором Жуковым — белокурым Давидом.
Пахнет детство белёной печкой,
Грозой и пыльными книжками умными.
Мокрой кожей, клубникой, гречкой
И парным молоком из деревни Богунино.

А то вдруг солнечный сад приснится,
Слива в компоте слезится сочно.
Откроешь глаза. А тебе под тридцать.
Ноги в грунте завязли прочно.
И не бегать так, чтоб сверкали пятки,
И не петь над Волгою на рассвете.
Давно разбились сорокапятки,
И солнце гораздо скромнее светит.

P.S. Я прячусь, тёмные нацепив очки,
И стала чуточку выше в холке.
Но мне всё ещё нужно вставать на цыпочки,
Чтоб дотянуться до верхней полки...

Послание врагу

Прощай, мой враг, истерзанный иуда.
Мне проще верить в Бога, не любя,
И принимать доверенное чудо
За маленькую копию себя.
Но ты один — ответ на все вопросы
И притчевоязыцевый вопрос:
Когда в мой череп ворвались без спроса
Чеширский кот и андалузский пёс.
Мой чёртов Гумберт, гаденький и хрупкий.
За что? За что? Ты слышишь или нет...
Меня — да в жерло адской мясорубки.
На двадцать зим, на двадцать долгих лет.
Душа в слюнях некормленой собаки —
Стихи стихов и повесть повестей —
Срастается, как тело после драки,
С другим пределом ломкости костей.
Теперь мечтай, кричи — и всё напрасно,
Что бросишь в сталь за глянцевым стеклом:
«Смотри, чудак, смотри, как я прекрасна!»
И нет тебя. И вроде поделом.
Мой враг повержен.
Дальше всё известно.
И пусто всё. И ненависть ушла.
Он мёртв.
А это так неинтересно —
Победа мановением крыла...

Ольга Орлова родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, работала редактором, переводчиком, тележурналистом. Автор многочисленных статей по изобразительному искусству и истории кино, член Творческого союза художников России, продюсер телевидения.



**Из гэльской поэзии
Шотландии XVIII века
перевёл с шотландского гэльского
и снабдил кое-какими примечаниями
Евгений Витковский**

...Однажды пришло мне в голову: а чего ещё я в жизни не делал?

(Собственно, мысль моя была чистым пластилом: мой учитель, Сергей Шервинский, лет в сорок задался таким вопросом. Ну и написал отличный исторический роман «Ост-Индия».)

А я, давно уже занимаясь Шотландией, решил выучить язык шотландских горцев — гэльский. И понял, что работы мне хватит до конца жизни: никто у нас этой поэзии не переводил — а она оказалась богата, разнообразна и интересна мне как поэту.

Кое-какие образцы предлагаю вниманию читателей.

Йан Руа Стюарт, «Рыжий полковник Стюарт», родился в Кинкардине, в горах Баденоха, в 1700 г.; известно, что он был единственным ребёнком в семье и матери его, когда он родился, было пятьдесят три года. Дед был представителем баронов Стюартов, но сын его, отец поэта, из-за козней родни титул уже утратил. Родным языком поэта и воина был гэльский, хотя стихи он успешно сочинял и на английском. Стихов от него осталось немного: по моим данным, 12 произведений, изданных отдельной книгой единственный раз в 1947 г.

Во время восстания принца Бонни Чарли Стюарта в 1745–1746 гг. Йан Руа Стюарт командовал резервным полком эдинбургского ополчения, вместе с ним и потерпел страшное поражение в битве при Куллодене.

Судя по тому, что никаких особых побед, кроме этой, герцог Вильям Камберленд, устроивший 16 апреля резню горцам принца, не одержал ни до, ни после, прозвище «мясник» он заслужил недаром. К тому же Йан Руа Стюарт (как, видимо, и принц) верил в предательство графа Джорджа Мюррея, хотя предателей хватало всегда. После поражения при Куллодене через крайний север Шотландии (Кейтнесс) полковник бежал во Францию; очевидно, там и умер между 1747 и 1752 гг., но... в дело вмешалась литература. В романе «Похищенный» Роберт Льюис Стивенсон объединил образ поэта-воина с образом куда больше теперь известного исторического лица: не совсем отвечающего за свои поступки Алана Брека Стюарта (более молодого перебежчика из рядов правительственные войск в войска принца) — и добавил персонажу очень много дополнительной биографии — Алан Брек (т. е. «пёстрый», перенёсший оспу) Стюарт дожил в Париже чуть ли не до 1789 г.

Но не о нём сейчас речь.

Немногочисленные сохранившиеся стихотворения полковника Йана Руа Стюарта — образцы поэзии высокой пробы, к тому же, как и почти вся лучшая гэльская поэзия, они исполнены истинного трагизма.

Йан Руа Стюарт
(1700–1747/52)

День Куллодена

Я плачу не над Божьей карой,
Но над жестокостью врага:
Господь, сынам отвагу даруй,
К Тебе взывает Твой слуга.
Наш победитель — герцог Вильям:
Иссохнет пусть его рука!
Мы — колоски, мы не осилим
Презренной мощи сорняка.

О горе! Узурпатор трона,
Чудовище, Георг Второй,
Не чтя исконного закона,
Пригнал красномундирный строй,
Страшна не пушка, не бомбарда —
Страшны — южане-дикари!
Всевышний! Карла Эдуарда
На трон шотландский водвори!

Не отразишь меча тартаном,
У горцев слишком мало сил.
А к злобным лисам, к англичанам,
И Сатана благоволил:
Стихии стали им подспорьем;
Земля промокла, и тотчас
Дожди и вихри по нагорьям
Пришли, одолевая нас.

Безжалостные сассенахи
Торжествовали в этот день:
А мы рассеялись во прахе
Вдали от гор и деревень;
Лишь чародейством, самым чёрным,
Нас победила эта рать —
Мы прячемся по склонам горным,
Врага не в силах покарать.

Тела, как память роковая,
Белеют меж альпийских трав.
Их бросили, не отпевая,
Не спеленав, не закопав.
Кто уцелел — проси защиты,
Когда чужой земли достиг;
Преступны все, кто якобиты,
И всяк мятежен, кто не виг.

Ликует армия чужая,
Венчает грабежом войну;
Несчастья наши умножая,
Нас гонят из страны в страну;
Разрушена твердыня Дуна,
В руинах пыльно и темно;
Всё, что сулила нам Фортуна,
Утрачено и сожжено.

Незабываемых видений
Проходит предо мною строй:
Цветы лесные в день весенний
Преклонены к земле сырой;
Не вечен миг победы вражьей,
Но жатву собирает смерть.
Смягчи, Всевышний, души стражей
И палачей умилосердь.

Я никогда не присмирею
Пред сей позорною судьбой:
Продажной гадине, Мюррею,
Проклятье шлю за этот бой;
Он мог служить чертополоху,
Но стал рабом иных щедрот:
Он предал всю свою эпоху —
И да взойдёт на эшафот.

Есть поражению причины,
Но можно ли забыть о том,
Что в битве сгинули мужчины
С мечом в руках и со щитом.
Забвенья нет для этой раны,
И, если б мысль убить могла,
Сейчас бы торопились враны
Склевать английские тела.

Увы, печалуюсь недаром
И в скалах прячусь много дней,
Глядишь, не попадусь рейтарам,
Что в Кейтнесс привели коней;
Вооружённые вояки,
Наглеющие в суете,
Обнюхивают, как собаки,
Погости в вечной мерзлоте.

И разорён и опозорен
Тот край, что приютил меня:
Не наберёшь и горсти зёрен —
Здесь ни овса, ни ячменя;
А если где-то цел курятник —
Незваный гость в него полез:
Ты победил, английский ратник,
Ты проклят, как трухлявый лес.

Мы, словно загнанные звери,
 Отодвигая смертный час,
 Бежим и прячемся по мере
 Последних сил, что есть у нас,
 В нужде, в беде, в упадке духа,
 Таимся под покровом тьмы,
 Лишь горестно кричит сипуха
 О том, как проиграли мы.

Но общение с героями Стивенсона и Вальтера Скотта на этом не закончилось. Отыскались и стихи его героев, и стихи на смерть его героев в традиционном шотландском жанре *cumha*, что приблизительно можно перевести как «элегия».

Герой поэмы Эван Руа (Eòghainn Ruadh) Макферсон (1706–1764) родился в Нуде, в Баденохе. Сын Лахлана Макферсона, арендатора Нуде, того, который вёл клан Макферсонов в битве при Шерифмуре в 1715-м и кто унаследовал состояние Клуни и положение вождя в 1722-м. В 1742 г. Эван женился на Джанет Фрэзер, самой старшей дочери Симона Фрэзера, лорда Ловата. Эван принял управление состоянием и провёл ряд экономических реформ, которые были очень выгодны для его людей. В течение 1742–1744 гг. на основе более ранних опытов, подобных тем, которые пришлось применить во времена Роба Роя МакГрегора, он организовал «смену часовых», чтобы защитить Баденох от угонщиков скота, «людей тумана» с дальнего севера и запада.

Как пишет историк, «исprobованная в небольших масштабах, идея завоевала популярность».

Результат привёл к тому, что к 1745 г. Клуни располагал обученными войсками под ружьём и был в хороших отношениях с правительством. В июне того же года он получил звание капитана горцев Лудуна и договаривался о дальнейшем расширении «смены часовых» для поместий на северо-востоке, когда вспыхнуло восстание сорок пятое. В то время как он готовился присоединиться к правительству полку в Инвернессе, он был арестован в своём доме 28 августа кланом Камерона Лохиеля. Он был привезён в Перт, где встретил принца Чарльза, к 7 сентября он передумал и присоединился к якобитам, для которых его смена роли была весьма удачным ходом.

Полковник Эван Макферсон Клуни и его полк продолжали служить принцу с большим отличием, особенно в Клифтоне 18 декабря 1745 г. и в Фолкерке 17 января 1746 г. В битве при Куллодене полк между тем не участвовал, и это дало Карлу Эдуарду место для отступления. 30 июня, в то время как Баденох жестоко грабили победители Куллодена, отец Эвана умер среди руин своего состояния, тем самым гарантируя, что оно будет конфисковано. В течение части августа и сентября новый вождь имел сомнительную честь спасать побеждённого принца в горах Баденоха, преимущественно в «клети» на горе Бен Олдер. Таковая была изобретательно разделённой на две камеры конструкцией из древесины и верёвок, занимавшей несколько квадратных ярдов между скальным обнажением, небольшим количеством растущих деревьев и горным склоном. За голову Клуни была назначена награда в тысячу английских фунтов... но с тем же успехом Лондон мог предложить и миллион. Никто не предал вождя.

Принц отступил в Арисайг в западном Лохабере (куда он прибыл немногим более чем за год до этого) 20 сентября 1746 г., оставив Клуни спасаться как сумеет в Баденохе. В течение девяти поразительных лет тот уклонялся от ареста, используя клеть и много других потайных мест. Наконец, по приказу принца Чарльза в мае 1755 г. вождь пробился сухопутной тропой к тому, что, увы, стало жизнью в изгнании, во Франции. Десять лет трудностей и избавлений были «по счастливой случайности» потрачены впустую. Клуниступил на французский берег и умер в Дюнкерке 30 января 1764 г. Он был похоронен в саду кармелитов, а не на кладбище: не потому, что был протестантом, но из страха осквернения могилы.

Пожалуй, этот образ — исторически очень достоверный образ вождя Клуни Макферсона — знаком едва ли не каждому по роману Роберта Луиса Стивенсона «Похищенный». Насколько можно судить, Стивенсон не преувеличил достоинства «вождя клана Вурихов» — скорее преуменьшил. В XIX веке в английском переводе, сильно искажающем текст, были опубликованы только несколько средних строф элегии Страмасси.

Надо заметить, что стихотворения Страмасси, дошедшие до нас, практически все носят юмористический характер, лишь «Элегия памяти вождя Клуни Макферсона» проникнута таким неистовым трагизмом.

Лахлан Макферсон Страмасси
(1723 – ок. 1795)

Элегия для вождя
Клуни Макферсона († 1764)

Чем дольше век — тем легче тьма
Нас делает добычей тленья;
Всё чаще меч или чума
Приходят, множа преступленья;
Зла добротой не обороть,
Победно разве что коварство:
Изволит гневаться Господь
И низвергает государства.

Я взял бы меч, как якобит,
Не ради славы или денег
И был бы вскорости убит,
Как дезертир и как изменник;
Иной бежал, иной в грозу
Страшился званья святотатца;
Но человек — бельмом в глазу! —
В Шотландии решил остаться.

Считать потери тяжело
И флангов, и ариергарда:
Но горцев много полегло
Во славу Карла Эдуарда.
Однако лучше промолчу
Про всё, что помнится доныне:
Одни достались палачу,
Спаслись другие на чужбине.

Все девять лет железный гэл
Восстанья дождался втуне,
Но спорить с принцем не посмел;
Отплыл за море гордый Клуни;
Не запятнавший ранг вождя,
Он вынес тяготы и беды,
Девиз единственный твердя:
«Кто памятлив, тот жди победы!»

Боец неистовый, герой,
Чья месть безжалостна бывала;
Вскипала ярость в нём порой
Подобьем пламенного шквала;
Казалось — он близнец волне,
Что рваться в скалы только рада,
И верещатникам в огне,
И грохотанью водопада.

Но в нём, отнюдь не сгоряча,
 Проснуться мог противник страшный;
 Тогда мгновенно и сплеча
 Он наносил удар палашный;
 Борец, но также и судья,
 Сомненья в глубь души запрятав,
 Он был острее лезвия
 Для чужаков и супостатов.

Враг воровства и грабежа,
 Впустую он не прекословил:
 Поводья шуйцею держа,
 Десницу к выпаду готовил;
 Но клятву принести могу:
 Никто и никогда не видел,
 Чтоб, гибеллю грозя врагу,
 Он невиновного обидел.

Он тщательно скрывал черты
 Своей неукротимой молни;
 Но коль к вождю допущен ты —
 Её заметить много проще.
 Мужчину узнаёшь в строю:
 Хор Девяти молчать не сможет;
 Коль духом слаб, на смерть твою
 Элегию никто не сложит.

Когда же гнев сходил на нет,
 Как ласков становился воин!
 Он был приветлив, как рассвет,
 И как закатный миг, спокоен.
 Он отдавал себя, как дар —
 Вождю и эта роль по силе!
 Его любили млад и стар,
 А женщины — боготворили.

Он принял добровольный крест:
 У горцев стражи недреманна.
 Где Клуни выставил разъезд,
 Там больше нет людей тумана.
 И скотоводы наконец
 Постигли смысл таких отрядов:
 Расти коров, паси овец,
 Не опасайся скотокрадов.

Тревога — нам, ему — покой:
 Он к телу больше не привязан,
 Но Правосудною рукой
 Вознаграждён, а не наказан.
 Я небесам молитву шлю:
 Пусть я сегодня и несчастен, —
 Парламенту и королю
 Мой вождь вовеки неподвластен.

* * *

Лахлан Макферсон, уроженец и житель долины Баденох в горах Центральной Шотландии, в поэзии известный по названию поместья «Страмасси», был поэтом по призванию, но не по профессии; из-за этого, возможно, его наследие так плохо сохранилось. Несмотря на две сотни лет поисков, сейчас мы располагаем материалами разве что на тонкую книжку. Первой его серьёзной публикацией можно считать подборку в антологии МакКензи «Сокровищница гэльской поэзии» (1843). В посторонних источниках имя Лахлана Макферсона упоминается из-за его близкого родства с Джеймсом Макферсоном («Оссианом»), но нет никаких свидетельств того, что он принимал участие в работе родственника. Наиболее известным произведением Лахлана по сей день остаётся элегия на смерть знаменитого вождя клана Макферсонов, известного как «Клуни 45» — цифра здесь означает год восстания принца Карла Стюарта, в котором и Клуни, и сам Страмасси принимали участие.

Среди 12–14 стихотворений Страмасси, в разной степени сохранности дошедших до нас, «Белая свадьба» занимает особое место, ибо в её основу лёг необычный, чисто горский сюжет. «Белая свадьба» устраивалась там, где в XVIII веке ещё сохранялось достаточно многочисленное гэльское население. Такой брак был одним из старинных обычай: он заключался между людьми не только хорошо обеспеченными, но немолодыми даже по меркам долгожителей-горцев. Среди свадебных гостей был Лахлан Макферсон, чьи стихи и скрипка были в Баденохе необходимой деталью праздника. Поэт, склонный к юмору, видимо, развлекался, созерцая компанию приглашённых на свадьбу убелённых сединами гостей.

Белая свадьба

Рефрен:

Не желает нам добра,
Сгинет в доле крохоборской,
Кто не видел серебра
Белой свадьбы, свадьбы горской!

До Пак-улла путь неблизкий,
Но уж как хорош тот угол,
Где восьми галлонам виски
Подарил гостей МакДугал!

И собрался люд окрестный,
Смуглый и во всём единый:
Для таких гостей уместны
Благородные седины.

Но жених на всякий случай
Молвил барду: «Я не скрою:
День сегодня невезучий
Для смешков над сединою!»

«Дело ясно, дело чисто!» —
Пит Макферсон внёс поправку:
«Где тут галстух из батиста?
Мигом смастерим удавку!»

Проповедник молвил грозно:
«Кто смеяться станет, скоро
Вспомнит: седина серьёзна!
Смех ведёт к скамье позора!»

Рёк седой учитель следом:
«Эти обвиненья тяжки!
Если бардустыд неведом —
Пусть готовит к розгам ляжки!»

Но закончил смелый самый:
 «Эдак праздник весь насмарку!
 Бард, плати эпиталамой —
 Заслужи большую чарку!»

Свадьба — это время танцев;
 Музыка — сигнал к атаке!
 Так пошли бы на голландцев
 Седовласые вояки!

Даже если горский норов
 Посчитают за причуду —
 Я толпу седых танцоров
 До могилы не забуду.

Сын молодожёна, впрочем,
 Спать улёгся, пьяный в доску,
 В состоянны нерабочем:
 Шестьдесят и семь подростку!

Но зато уж молодая
 Сыну не жалела чаши:
 Он плясал, легко болтая
 С юным правнуком папаши.

А жених молодцеватый
 В горском танце льнул к невесте:
 День, событиями богатый,
 Завершился честь по чести!

Но не всё на свете просто;
 Гость посиживал в сторонке
 Лет неполных девяноста:
 Он вдову не взял бы в жёнки!

Дункан Бан МакИнтайр (1724–1812)

20 марта — день рождения великого гэльского поэта Дунканна Бана МакИнтайра. Как 25 января, в день рождения Бёрнса, всей Шотландии к столу предписан хаггис, 5 сентября в Эдинбурге, городе Роберта Фергюсона, город ест похлёбку из устриц и запивает джином — так шотландские гэлы в день рождения Дунканна Бана покупают самого большого осетра, какой найдётся, и торжественно его съедают — об осетре всё рассказано в «Раздоле туманов».

А я пока так могу отметить день рождения поэта: выставить читателям поэтическую бутылку виски аргайлской марки «Дункан». Интересно, что написано стихотворение в те самые годы, когда почти семидесятилетний констебль Дункан Бан бродил по Эдинбургу с нарядом «чёрной стражи» — пожалуй, прямо под окнами масонской ложи, где чествовали «акцизного пахаря», гениального Роберта Бёрнса.

И нет никаких сведений о том, что «главный» шотландский поэт-англичанин хоть раз слышал имя «главного» шотландского поэта-кельта.

В мае 2012 г. исполняется 200 лет со дня смерти великого Дункана. Дай-то бог нам отметить его юбилей хоть немного лучше, чем юбилей Бёрнса.
С днем рождения, Бард-Охотник Долины Глен Орхи, Дункан Бан МакИнтайр.
...А лосось — ну, мы его отложим на потом.

Песня о бутылке

Как же люди близки
у бутылки виски!
ни к чему изыски
в радости простой;
стало быть, нальём-ка:
если чаша ёмка,
старая знакомка —
ты не будь пустой!

Дальше — что угодно
можем петь свободно,
поболтаем превосходно,
будут речи жарки;
Пьянка благородно
властвует над жаждой:
трудно — знает каждый —
обойтись без чарки!

Выпьем же за горцев,
мощных песнотворцев,
славных вискоборцев,
благородных гэлов:
кто в бою жесток,
 тот в питье знаток:
всё поймет, глоток
самый первый сделав!

Мы — в своём кругу:
присягнуть могу:
кто не зажимал деньги —
пьёт из полной чаши;
а скупца-брозгу
гнать бы от порога:
гаду чести много
тосты слушать наши!

Гордость гэльской нации —
чудо дистилляции;
счастье дегустации
всех превыше счастий;
сгинут боль и пытки
с первой же попытки:
в радостном напитке
гибель всех напастей.

Длится праздник велий
 духовитых зелий,
 винокуренных изделий:
 словом, пьянка тянется
 чередой веселий, —
 кстати, за семью
 выпей-ка свою —
 вот тебе и скляница!

Летом жарко, тяжко:
 влезь на дно кармашка,
 и поможет фляжка
 средь горячих гор;
 полночью морозной —
 сей бальзам серъёзно
 говорит: не поздно
 на заезжий двор.
 Пьянка весела;
 лихо в пляс пошла
 молодёжь вокруг стола;
 если ж кто притих,
 плохи, знать, дела:
 выгнать бы капризного!
 Песню спойте сызнова,
 вспомнив каждый стих!

Это ль не отрада —
 выпить всё, что надо;
 не ропщите, чада:
 хватит вам веселья,
 нынче — спать пора!
 Ну а для нутра
 отхлебни с утра —
 нет как нет похмелья!
 Он незаменим!
 что сравнится с ним?
 сей напиток мы храним
 для больных недаром;
 с чем его сравним?
 Виски можно славить,
 ну, а сопоставить
 разве что сnectаром.

<Между 1768 и 1790>

* * *

Гэлы в основном протестанты, точнее, кальвинисты. Но не все.

В отличие от большинства знатных (в гэльском понимании слова) горских леди, дочь МакДональда из Лохабера Шейла МакДональд была католичкой. О ней почти ничего не известно до 1688 г., да и до тех пор, пока она не овдовела в 1720 г., сведения более чем скучны. Она была явной якобиткой; считается, что до весьма поздних лет к поэзии не обращалась. Сохранилось 23 произведения Шейла МакДональд (вошедшей в поэзию как «Шейла на Кеппок»), среди них — знаменитый плач «Аластар Гленгарри» (ок. 1720).

Шейла на Кеппок
[Шейла МакДональд]
(ок. 1660–1729)

Аластар Гленгарри

Гордый Аластар Гленгарри,
Светоч блага и приязни!..
Гаснет разум, как в угаре,
Тело просит ран и казни.
Горек жребий, тяжек случай,
Слёз сегодняшних причина;
Чем ветвистей дуб могучий —
Тем скорей его кончина.

Злая участь виновата,
Где ты, Дональд, — век твой прожит.
Искупить утрату брата
Ранальд ни один не сможет.
Древний дуб сметён судьбиной,
Сколь могучий, столь же старый;
Где ты, клич тетеревиной,
Ястребиный клёкот ярый?!

На воителе великом
Благодать была Господня;
Мудрый и приятный ликом,
Ты покинул нас сегодня.
Похвалы любой достоин,
Предводитель, где ты ныне?..
Ярый лев, великий воин —
Плачь, Иаков, на чужбине!

Дональд, властелин на море,
Не приплыл на лодке к бою.
Пусть ни с кем не делит горе —
Так не стало бы с тобою.
Но когда в прибрежной дали
Ты бы в лодке был замечен,
Мы б заранее рыдали:
Ведь герой — недолговечен.

Был ты страшен перед войском,
Полон огненною жаждой,
В исступлении геройском
Был ты первым в битве каждой:
Был лососем пресноводным,
Был орлом высокогорным,
Был ты львом высокородным
И оленем был проворным.

Даже в бурю не прогневясь,
 Был ты бездною озёрной,
 Был огромен, как Бен-Невис,
 Был ты — замок необорный.
 Был ты башней твердостенной,
 Был скалой неколебимой,
 Был ты — камень драгоценный,
 Был ты — флаг, вождём любимый.

Был ты дубом мускулистым,
 Был ты тисом непокорным,
 Был цветущим остролистом,
 Был неумолимым тёрном.
 Страстью полные до всхлипа,
 Рощи ластились любовней —
 Но ольха, осина, липа
 Не были с тобою ровней.

Ты берёг жену с любовью;
 Нет тебя со мной — ужели?
 Но сегодня участь вдовью
 Остальным сносить тяжеле.
 Помолись, чтоб стало вдовам —
 Тем, которых горе гложет, —
 Ибо делом, ибо словом
 Лишь Господень Сын поможет.

Бури ты прошёл и войны,
 Душу спас, народ прославил;
 Но едва ли так спокойны
 Те, кого ты здесь оставил.
 Об одном мечтаю даре:
 Не забудь в молитвах сына.
 Гордый Аластар Гленгарри,
 Горьких слёз моих причина.

<ок. 1720>

* * *

Говорят, есть размеры элегические, есть иронические... Тредиаковский был с этим не согласен. Кажется, прав был Василий Кириллович.

Спустя 65 лет Шемас МакИнтайр высказал всё, что он думает о ненавистнике шотландцев «Докторе Джонсоне», поэмы, написанной на мелодию (air) «Аластара из Гленгарри», к тому же стилизуя его — только «наизнанку». Джеймс, третий вождь клана МакИнтайр, родился приблизительно в 1727 г. Граф Бредалбейн (1696–1782) оплатил его юридическое образование, его считали хорошим законником и поэтом. После смерти отца он возвратился в Глен Но. Когда принц Карл Эдуард Стюарт поднял знамя отца в 1745 г., Джеймс МакИнтайр присоединился было к нему, но под влиянием жены (из клана Кэмпбэлов) и соседей (ему было лишь 18, Бредалбейн был старше него и Дункана Бана на 30 лет!) остался дома. Многие члены клана МакИнтайр, однако, боролись за якобитов в Аппинском полку при Куллодене.

Лучшую информацию о Джеймсе МакИнтайре (1727–1799), арендаторе Глена Но и вожде этого клана, можно найти у Ангуса МакЛауда, редактора Песен Дункана Бана МакИнтайра (Эдинбург, 1952), на с. 501–503, в примечаниях МакЛауда относительно поэмы «Песня об оружии», которую Дункан Бан сложил после посещения

Глене Но. Джеймс МакИнтайр был академически образованным человеком, но пытал страстью к гэльскому языку, что было весьма необычно в его времена. Он был одним из кружка учёных, которые организовали в течение 1771–1776 гг. Общество по возрождению языка и поделили буквы алфавита между собой с целью составления Гэльского словаря. Другие, все священники, были Джеймс МакЛаган, Блэр Атолл, Арчибалд МакАртер Килниниан, Дугалд Кэмпбелл Килфинихен, Чарльз Стюарт Страхур, Джон Стюарт Лесс и Дональд МакНикол Лисмор. Часть их работы, которая никогда не издавалась, уцелела в Национальной библиотеке Шотландии и архивах Королевского горного и сельскохозяйственного общества Шотландии и впервые, выборочно, увидела свет в 1986 г.

Без сомнения, как лексикограф арендатор Глены Но поклонялся самому имени Доктора Сэмюэля Джонсона, знаменитый Словарь которого был издан в 1755 г. (докторскую степень составитель получил в Дублине через десять лет). Вождь, должно быть, был восхищён, услышав в 1773 г., что великий человек навестил Горскую местность и Острова, однако обнаружил в 1775 г., прочитав «Поездку к Западным Островам Шотландии», что его идол — колoss на глиняных ногах. Дело не в литературной сплетне, не в том, что Джонсон якобы поставил целью опровергнуть подлинность Оссиана, — вопрос этот не особо заботил гэльских учёных. Если бы Джонсон обнаружил, что переводы Макферсона выполнены добротно, чтобы составить по ним представление о балладах Шотландии, — вопросы бы отпали. Если бы он нашёл, что нет, то лишь потому, что баллады не были предъявлены ему во всей славе. Одна из этих двух вещей случилась бы, ибо достоверно, что баллады уцелели на устах людей ещё и потому, что гэльский язык был письменным языком в течение тысячи лет.

Вообразите ужас Джеймса МакИнтайра, когда он узнал о безобразной вспышке ярости Джонсона в ответ на гостеприимство, любезность и недюжинную эрудицию людей Островов (Сэмюэль Джонсон и Джеймс Босуэлл. Поездка к Западным Островам Шотландии и Дневник путешествия на Гебриды):

«...По поводу языка Earse — я не понимаю на нём ничего, не могу сказать больше того, что мне сказали. Это — грубая речь варваров, обладавших скучным запасом мыслей, дабы облечь их в слова, и счастливых тем лишь, что могли родить хоть что-то, доступное пониманию <...> Я уверен, что и на всём языке Earse не может набраться пятисот строк, хоть как-то свидетельствующих о том, что им сотня лет. Но тут я слышу, что некий Оссиан обладает двумя сундуками древней поэзии; он скрывает её, потому что она слишком хороша для англичан. Тот, кто заявляется в Горную местность, доверчиво ожидая встречи с чудесами, может возвратиться с мнением, весьма отличным от моего; те же, кто осознаёт невежество дикарей и веру их в старину, могут на многое закрывать глаза; всё же я не говорю, что они преднамеренно лгут или преследуют иную порочную цель. Они порасспрашивали, посмотрели — и не чувствуют своей несведущности <...> Полагаю, моё мнение относительно поэм Оссиана известно». Далее цитирую по общизвестному у нас тексту: «...Я убеждён, что они [поэмы Оссиана] никогда не существовали ни в какой-либо иной форме, нежели та, которую мы видели. Издатель или автор никогда не мог показать оригинала, который вообще никем не может быть показан.

Отказ предъявить свидетельства в отместку за обоснованное недоверие — это такая степень наглости, какой свет ещё не видывал, а упрямая дерзость есть последнее прибежище виновности. Было бы ему нетрудно показать оригинал, если бы он существовал, но откуда же ему взяться? Он слишком велик, чтобы его можно было запомнить, а язык этот раньше не имел письменности. Автор несомненно вставил имена, встречающиеся в народных рассказах, и, возможно, перевёл несколько странствующих баллад, если можно сыскать такие. А эти имена и некоторые ранее запомнившиеся образы, поддержанные к тому же каледонским фанатизмом, заставляют невнимательного слушателя вообразить, будто он уже слышал раньше поэму». [Перев. Ю. Д. Левина; см. «Поэмы Оссиана Дж. Макферсона», Лит. памятники, 1983, с. 479.]

Временно отставим поведение самого Джеймса Макферсона: для него есть оправдание. Но Макферсон был не единственным горцем, чьё образование позволяло ответить доктору — чьи фальсификации речей Питта уже давно сами стали притчей во языцах.

Гэльская лексикография была полностью отвергнута. В то время как преподобный Дональд МакНикол сочинял взвешенные «Замечания по Поездке Доктора Сэмюэля Джонсона к Гебридам», в конечном счёте изданные в 1779 г., руководитель клана МакИнтайр использовал более народную форму критики. Наша поэма была издана анонимно в собрании Eigg 1776, с. 318–321 («На Сэмюэля Джонсона, англичанина, каковой облыжно плёл клеветы супротив Шотландии. Писано Джеймсом МакИнтайром, Арендатором Глены Но — 1775»).

Следует упомянуть ещё о трёх песнях о Докторе Джонсоне, более интеллектуальных, но менее поэтичных, чем первая, они — в собрании Гиллиса 1786 г. Преподобный А. МакЛин Синклер настаивал (Гэльские Барды и Собиратели их работ, TGS 24 (1899–1901), с. 259–77: 267), что все три эти поэмы в собрании Гиллиса созданы Джеймсом МакИнтайром Глен Но. Комментатор Ангус МакЛеод заметил, что «Доктор Джонсон, как видим, стал навязчивой идеей Джеймса МакИнтайра». Вероятно, поэмы в собрании Гиллиса были совместным

сочинением клуба «Горских джентльменов». Название поэмы в собрании Eigg [1776]: 'Oran do'n Olladh Shasgunnach, le Duine-uasal Araidh.' («Песня английскому Доктору, Необычному Джентльмену»). Обращаю внимание: в издании поэтических произведений Дункана Бана МакИнтайра 1768 г. «Песня об оружии» отсутствовала; впервые появилась она в издании 1790 г. Поскольку год издания «Песни доктору Джонсону» вождя Глена Но – 1776-й, не будет невероятным предположить, что Дункан Бан присмотрел за поэтическими достоинствами инвективы, созданной вождём его клана.

Текст приводится по антологии Д. Блэка «An Lasair» («Пламя»), 2001.

Шемас МакИнтайр,
третий вождь клана МакИнтайр
имени Глен Но
(1727–1799)

Песня для Доктора Джонсона

Англичанин, хрен заморский,
Был ты нам сто лет не нужен,
Но притрюхал: мол, по-горски
Выставляй обед и ужин;
И с набитою утробой
У себя в норе барсучьей
Выродил набитый злобой
Дохлыи выпороток сучий.

Знать не знаю: чёрт ли, бес ли
Вдохновил тебя на дело:
Воешь на луну, а если
Слушать не заставишь гэла?
Ну, рычи поганой шавкой,
Быдловатой, грязной, грубой:
Гавкай ты или не гавкай —
А поди куси, беззубый!

Клювом иль пером орлиным
Не убью тебя роскошно:
Мне и стёблышком гусиным
Воевать с тобою тошно;
Час-другой тебя помучу:
Быть у нас не может драки:
Раздавлю тебя, как кучу
Протухающей салаки!

Неужели папа Джонни
Смастерил такого Сэмми?
Видно, дядя посторонний
Дал начало этой теме;
Тухлый дух в протухшем теле;
Раб, достойный только вздрючки,
Ты вонючкой был доселе,
Стал теперь как две вонючки.

Высыхает лес отменный,
От орлов — разит стервятней;
В чистой полосе ячменной
Сорняки всего отвратней;
Знать, фальшак не хуже денег,
Коль растут на нём доходы;
Сударь, то, что ты мошенник, —
Просто знак твоей породы.

Ты слизняк, среди болота
Вялое наевший брюхо;
Ты раздутая от пота
Желтопузая лягуха;
Ты — раздутый труп гадючий,
Ты же слепень кровожадный;
Ты же овод приставучий
И опарыш стервойдный.

Ты — бродячий пёс нечистый,
Царь помойки, право слово;
Ты — грибок росы мучнистой,
Ты — гниющая полова;
Ты — наймит, притом подонок,
Ты — продажная защита,
Ты — гнусавый пустельжонок,
Жвачка для зубов пиита.

Ты исчадие кошмара,
Плод без племени, без роду;
Ты взбесившийся волчара,
Что боится видеть воду;
Ты мешок, набитый вздором,
Ты недаром всех бездарней:
Ты, зачатый под забором,
Ты, воспитанник свинарни.

Ты отнюдь не вереск чистый,
Ты не ясень — помнить надо б;
Ты не тёрн, да и не тис ты,
И не благородный падуб;
Но доволен ты судьбиной,
Ты — осина превелика,
Дуб, что сделался дубиной,
Липа, что пошла на лыко.

Омерзительный, раздутый
Змей, подохший возле речки;
Полный вызревшей цикуты
Чирей, что готов к протечке;
Слизь твою понюхать жутко,
Да и вовсе бы не надо:
У тебя взамен желудка —
Печень, вздутая от яда.

Ты — акула, ты — зубатка,
 Ты — пескарь, на выкид годный;
 Ты — великий страж порядка,
 Только страж заднепроходный;
 Вошь, внедрившаяся смело,
 Скажем, в тулово овечье, —
 Но болтать с тобою — дело
 Ну никак не человечье.

Коль тебе нужда припёрла —
 Думаешь, возьмёшь нахрапом;
 Растопырь пошире горло —
 И в него получишь кляпом.
 Твой конец, поганец, близок:
 И довольно строить ковы:
 Ты — невыделанный склизок,
 Сдохший в брюхе у коровы.

Евгений Витковский родился в 1950 г. в Москве. В 1967–1971 гг. учился на искусствоведческом отделении истфака МГУ. Как поэт-переводчик работает и печатается с 1971 г. Опубликовал переложения из Кристофера Смарта, Джона Мильтона, Роберта Саути, Джона Китса, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга, Луиса де Камоэнса, Фернандо Пессоа, Райнера Марии Рильке, Теодора Крамера, Йоста ван ден Вондела, Константейна Хёйгенса, Артура Рембо, Поля Валери, Дункана Бана МакИнтайра, Барда МакЛина и других поэтов. Первый переводчик шотландской гэльской поэзии на русский язык.

Основатель сайта «Век перевода» (2003).

Автор фантастических романов «Павел II» (2000), «Земля святого Витта» (2001), «Чертовар» (2007). Как литературовед и составитель подготовил к печати более 20 томов произведений, в том числе сочинения Георгия Иванова (1994) и Ивана Елагина (1998), антологии русской зарубежной поэзии (1994–1997), французской поэзии (1999) и английской поэзии (2007), а также трёх выпусков антологий русского поэтического перевода XXI века (2005–2012) и др.

Член Союза писателей СССР с 1983 г., эксперт Союза переводчиков России. С 2002 г. главный редактор издательства «Водолей». Живёт в Москве.



Татьяна Морозова
(1956–2011)

Придурки-хроники

В лесу о бабах, с бабами о лесе.

Когда встречаются политтехнологи, разговор исключительно — о работе. Тему встречи изменить нельзя. Ни-ни. Не мы выбираем тему, она выбирает нас. Гадкая такая. Нас легко ангажировать навеки. Ведь мы придурки. Это и диагноз, и судьба, и предмет особой гордости. Это — навеки, потому как — хроническое.

Собственно, мы — представители паразитической экстремальной профессии, а придурками стали лишь сейчас, когда мне предложили писать мультсериал, я и вкинула тему: двадцать шесть серий по тринадцать минут — что за это время можно успеть? — аккурат выборная кампания. Притом не крупная, не губернаторская, а так, по вершкам — областная дума, мэрская. Главные герои — все-все-все — придурки. Как оно обыкновенно и бывает, в кампании-то. Вот и получилось: придурки-хроники. Или — хроники про придурков.

— Ань, — это Вадик пришёл, — тебе ещё история. Лёша сейчас меня вёз, целый час крутился. Я ему говорю: нам надо по тому же адресу, что и вчера. А он: я два раза в одно место никогда не попадаю.

Гогочем, как гуси. Огромный ленивый Лёша по прозвищу Балу — редкостная находка. Он и в самом деле либо колесит по городу кругами, с маниакальным упорством возвращаясь в место выезда, либо не находит нужного адреса напрочь. На все вопросы, например,

где здесь такая-этакая улица или остановка автобуса, он отвечает: а я откуда знаю? И в самом деле — откуда? Зато из пробок вырывает лихо — по встречной или вслед за трамваями.

У нас странная компания. Впрочем, они всегда странные. Но сейчас, так как это сейчас, особенно приветливая. Мы работаем в большом городе. Наш кандидат Бобров хочет стать депутатом Законодательного местного собрания.

Бобров, пришла пора ловить бобров.

Очень хочет. «Берегите себя», — советует ему Костя.

Денежки ему дают из Москвы. Там-то нас и наняли. Но дают денежки как-то совсем неохотно, через губу. Броде и офис сняли, и технику поставили, и по квартирам расселили. А на поле никак не раскошелятся. Начальники, да. Начальники сидят в соседней комнате. У нас с ними взаимоотношения. Всяко разные.

Сначала нас — без начальников — было пятеро. Потом мы немного подросли, и осталось четверо: Ленка, я, Вадик и Костя. Пятым был Сашка, но его начальники (их двое, двое из ларца) выдавили на историческую родину. И Ленка — она у нас и менеджер, и аналитик, и технолог — не смогла его отстоять. Не получилось ни по жизни, ни по правде.

Сашка сам виноват — в женщинах запутался. В жёнах. Хотя их всего-то ничего, как и начальников — две. Старая и новая. Новая

к нему сразу приехала, а старая всё собираясь, так он и приуныл, пытался к Вадику с Костей (их в одну квартиру поселили) новую на время пристроить, но ребята взбунтовались. У них самих мало того что командировочный синдром в рёбра стучит, так ещё на праздники свои жёны собирались подвалить, а как им объяснить присутствие в квартире непонятной чужой жены? Жёны это ведь вам не пушки заряжёны, мы же политтехнологи, а не артиллеристы. В общем, Сашке было не до кампании, его креатив по контрпропаганде, на которую он был поставлен высшими силами, свёлся в общем и целом к одному мощному предложению: украсить округ граффити «Бобров — жид». Юмора не понял никто. Так он и отчалил, медленно и печально, с чемоданом и жёнами. Уехал восвояси. Ему вслед округ мигал позитивными граффити: «БОБРОВ!» Просто и крупно, видно издалека, сердце избирателя завоёвывает напрочь. Навзрыд, навылет.

Сегодня сдаём газету «ВПЕРЁД И ВВЕРХ». Наш Бобров в юности увлекался скалолазанием. Ещё подводным плаванием, но «Вперёд и вниз» как-то не так звучит, поэтому из двух хобби выбрали более избирабельное. Всех заставляю вычитывать вёрстку.

— Блеск, — восхищается Ленка, выискивая лишние запятые и поглаживая одновременно перл выпуска — фотографию Боброва с Пеле. Великий футболист улыбается и сжимает плечо улыбающегося же Боброва: «ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА — НАПАДЕНИЕ!» Как сказано-то, как!

Из комнаты начальников (Андрон и Ираклий Геннадиевич) слышатся радостные возгласы, похожие на крики скальпируемого. Это Андрон читает «Вперёд и вверх». Иду на крик.

— Что такое? — спрашиваю.

У нас с Андроном затяжная виртуальная битва. Он меня сразу не полюбил за независимость. За, гм, уверенность в себе. За, наконец, вздорность как способ выражения вышеупомянутых качеств. А мы, Весы, очень чутко реагируем на нелюбовь. Более того, Костя по большому секрету рассказал мне, что меня тоже хотели выслать вслед за Сашкой, но он сказал Андрону, что тогда и он уедет.

— Почему? — спросил Андрон.

— Потому что Аня дело делает, — кратко ответил Костя.

И меня оставили, хотя я была готова к вылету в любой момент — не люблю кампании, которые хотят сделать по максимуму, но ми-

нимальными людскими (да, это именно так, не по-человечьи называется) и финансовыми ресурсами. Зато с тех самых пор отношения мои с Андроном перевалили нулевой рубеж и замерли на отметке «тепло и ехидно». Он всячески (но уже душевно, без ледяных корочек) придирается к моим текстам, а я его травлю незнакомыми словами.

— Ань, этот материал мне не нравится, — задумчиво вертит Андрон в руке листовочку для распространения в аптеках.

— Ты хочешь, чтобы текст был более лапидарным? — невинно спрашиваю я.

Он делает вид, что не слышит, разглядывая монитор сбоку.

Повторяю, уточняя:

— Ты хочешь, чтобы текст был более лапидарным, ну, более кратким, ёмким?

— Именно, — кивает.

Так что же его так развеселило? Он вообще-то собирается ехать на какую-то конференцию, рассказывать всяким умникам о кампаниях, в которых блистал, может, конференцию отменили? Но нет, это смех местного розлива, наша общая маленькая радость.

— Ой, не могу, — умирает Андрон, от счастья у него даже усы слиплись. — Член Союза писателей слово транспАрант через «о» пишет!

Да, будет о чём рассказать на конференции!

— А надо как? — удивляюсь.

— ТранспАрант, транспАрант, — веселится Андрон.

— Интересно, говорю, — недоверчиво отбирая вёрстку, — а почему тогда мне компьютер ошибку не подчеркнул?

Разглядываю. А, понятно. Злополучное слово — в заголовке «ГУБЕРНАТОР ИСПУГАЛСЯ ТРАНСПОРАНТА», поэтому машина и проигнорировала ошибку.

— Всё ясно, — говорю Андрону, — он мне слово не подчеркнул, потому что оно набрано заглавными буквами. Вот компьютер и решил, что «ТРАНСПОРАНТ» — это аббревиатура.

— Чего? — переспрашивает Андрон.

Ираклий Геннадиевич загибается от смеха (он, похоже, послеживает за нашими милыми пикировками) и объясняет ещё раз:

— Ну что ж тут непонятного, Андрон! Компьютер принял транспарант за аббревиатуру!

В коридоре наталкиваюсь на Костю — значит, где-то рядом и Бобров. Это такая примета. Народная.

— Костя, — спрашиваю, — как пишется транспарант? Через «О» или через «А»?

Транспарант, кстати, которого «испугался», по версии нашей газеты, губернатор, повесил Костя. Огромную такую вывеску на местном Доме культуры о встрече Боброва с избирателями. Размером объявление больше, чем вывеска о гастролях Пугачёвой. Мощная наружка (наружная то есть реклама) — Костя ею страшно гордится. А Бобров и вовсе — каждый день с утра, пока жена варит кофе, ездит к Дому культуры, любуется своим именем.

— Транс-пО-рант, — диктует Костя. И объясняет: — Проверочное слово — «транспорт».

Обедаем. Маленькое кафе «Островок», всего четыре столика. Ленка ест грибной суп, ребята солянку, я жду фаршированные перцы и треплюсь о сериале. Ну, о придурках, в конечном счёте. Это мне мой друг Нур заказал, он придумал новый стиль анимации, и теперь ему надо вложить в форму содержание.

— Их три брата, — рассказываю я о Нурахме, — и все Нуры. Нурула, Нурали и Нурахмед. Мой друг — Нурахмед. Он изобретатель, всякие штуки компьютерные делает. Например, он изобрёл шар.

— Шар? — переспрашивает Вадик.

— Шар, — подтверждаю.

— А я-то думал, кто изобрёл шар? — бурчит Костя, вылавливая масlinу.

— Не простой шар, а большой, — уточняю.

— Это разница, — защищает меня Ленка.

— Ясен пень. Маленький шар — маленькая разница, большой — большая. — Вадик тоже вылавливает масlinу.

Почему они не любят их, ведь вкусненькие?

— Это такой шар, — не поддаюсь я, — в который входишь, а на спине — рюкзачок, на глазах очки, а в руках пистолет. Ты ходишь по шару, как по компьютерной игре, и отстреливаешь врагов.

— Хочу пистолет, — кивает Костя.

Костя у нас при кандидате. Устраивает встречи и ездит с ним, как няня. Учитывая указания московского начальства, что кампанию мы строим исключительно на встречах, у него самый объёмный кусок работы. Кандидат к нему прикипел, даже по ночам звонит. Если кандидата условно можно назвать сотовым телефоном, то Костя — подзарядка, без которой телефон не функционирует. Поэтому иногда

Костя деревенеет и замогильным голосом выдаёт гладкие гневные фразы: «Семьдесят процентов подвалов в нашем районе затоплены водой и фекалиями. У нас что, нет средств на осушение? Есть! Только они идут в карманы чиновников!»

— Когда Андрон едет? — спрашивает Леночка.

— Завтра. Или послезавтра. Что-то все дни слиплись, — отвечает Вадик.

— Так где конференция-то?

Мальчики вчера с начальством пиво пили, может, Андрон раскололся? Дурацкие партизанские манеры! Будто мы не придурки, а гэбэшники. Меня как женщину, то есть особь с умом пытливым и нетерпеливым, эти таинственности смешат. Честное слово, смешат! Ха.Ха.Ха.

— Да кто его знает? — Вадик жмёт плечами. — Где-то за границей, кажется.

— Наверное, на Украине, — предполагает Леночка.

Мне принесли перцы. Дымятся, горячие. Время остывать, а не поедать.

— А теперь вот мультики. Я ему написала про придурков, а он ответил, что, может, это грубо. Может, лучше «пеньки»?

— А что — пеньки — мне нравится, — говорит Вадик. — Как тебе, Костя, «пеньки»?

— Угу, — кивает Костя и заказывает всем по пятьдесят коньяка.

Мы с Ленкой вяло сопротивляемся. Очень вяло.

— Ну, за пеньков, — провозглашает Костя. И добавляет не своим голосом: — Я сделаю так, чтобы каждый бюджетный рубль был истрачен по назначению.

Ленка — неправильная.

Это её Иннокентий так называет. Он сейчас не с нами, он в Москве, но звонит каждый день исправно. Чтобы напоминать Ленке, какая и почему она неправильная. Я с Иннокентием солидарна. Главная неправильность Ленусика — чрезмерный энтузиазм в работе. Она готова коптеть за семерых. Круглосуточно. Даже тогда, когда. За то и ругаема, ибо всё остальное — от этого энтузиазма.

Я объясняю:

— Ты забыла лучшие русские пословицы: солдат спит — служба идёт, раз, поспешай не торопясь, два, инициатива наказуема, три...

Она перебивает:

— Это не пословица.

— Но по сути-то верно! И то, что ты споришь, — это тоже неправильно!

Это мы разминаемся после обеда. В разминку включается телефон. Ленка хихикает долго и жарко, затем цитирует Иннокентия, который, кажется, в свою очередь кого-то цитирует. Не жизнь — цитата. Сплошная цитата и аллюзия. Читает по листочку, без записи любая информация в кампании исчезает в никуда. Иначе нельзя — персональный хард диск (то есть мозги) полетит.

— Так, значит: если вы думаете, что я бездействую, то вы ошибаетесь, на клеточном уровне я очень даже активен.

— Прекрасная мысль, — я раскладываю пасьянс, — как раз про меня сейчас.

На самом-то деле у меня низкий старт. Жду звонка, чтобы тотчас сорваться с места и мчаться на свидание с рекламным агентством — они нам делают билборд, ну, рекламный щит.

— На клеточном уровне... — наконец пришёл долгожданный тузец, — удивительно точно.

— И ёщё, — Ленка всматривается в бумагу, — никому никогда не поставить нас на колени.

Она делает паузу, я киваю, мол, ни-ко-гда, она гордо зачитывает концовку:

— Лежали и будем лежать!

Трясёмся. Надо ребятам будет рассказать, они сейчас в поле и слышали только предыдущий Иннокентьев перл. Это когда Ленусик с горящими глазами жаловалась ему на начальников, что те денег не хотят давать ни на телевизор, ни на поле (Ленка-то хотела агитаторов чтоб человек четыреста! Шестьсот! Семьсот пятьдесят!), а Бобров по рейтингам на третьем всего месте, он её утешил:

— Ничего, не догоните, так хоть согреется.

Это стало нашим внутренним слоганом.

В кампании всегда есть свой внутренний слоган, в переводе на русский — девиз. Например, в президентской кампании одного бизнесмена открытый слоган был «СИЛЬНЫМ РАБОТУ, СЛАБЫМ ЗАБОТУ», а внутренний звучал несколько иначе. А именно «Сильных в рабы, слабых в гробы».

— О, Ленусик, я придумала!

— Что придумала, Анечка? — удивляется Ленка, вроде как время придумок прошло, на всё уже напридуманное и так денег не дают, листовку-буклет Ленка вчера ночью доделала (я по ночам принципиально не работаю, к тому же тексты — а это моя прямая обязанность — по ночам не размножаются), свою газету мы сдали уже в типографию, места в

газете городской Андрон не прикупил, хотя статейка уже написана и (о чудо!) Андроном одобрена со словами «Я даже и сам не ожидал, но материал мне понравился» и ответом строптивой райтерши «Мастерство-то не пропьёшь! Меня даже в «Новом мире» не правят!» (враньё, конечно, в тот единственный раз, когда публиковала там статейку, правили, но не сильно).

— Придумала, — упрямо повторяю я и ехидно улыбаюсь.

— Что, что ты придумала? — Ленусик вертится на стуле. Точнее, вместе со стулом, крутящийся он потому что.

— Я буду писать на тебя список.

— Список?

— Список твоих неправильностей! А потом отправлю его Кеше!

— И он меня нарушает?

— Обязательно!

Быстроенько, на клочке набрасываю основные пункты обвинения.

1. До двух часов ночи (!) верстала с макетировщиком буклет. (Это вчерашняя, переходящая в сегодняшнюю неправильность.)

2. Приносила свой личный компьютер в офис. (Я свой-то ноутбук дома держу, а Ленка туда-сюда таскает, хотя здесь есть стационарные компы.)

3. СТАЖЁР! (Этот пункт я выделяю. Дело в том, что наш московский наниматель — не путать с московским начальством, мы здесь от подрядчика, именно он нам платит, именно ему отчитываемся — так вот, наш московский наниматель постоянно присыпает нам в помощь различной степени бесполковости стажёров, которые селятся почему-то у Ленки. Стажёры молодые и безобидные, но при их появлении она лишается личного пространства, столь необходимого в кампании.)

4. На свои деньги покупает интернет-карточки. (Почему Ленусик упорно отказывается требовать за них деньги у Ираклия Геннадиевича, я, наверное, никогда не пойму.)

Зачитываю список Ленусику. Она посмеивается, на каждое обвинение пытается что-то возразить, но я не слушаю:

— Чего-то не хватает, — вслух думаю я, — для полноты и ясности. Чего?

Тут раздается звонок — это билборды. Пеле с Бобровым: «МЫ УМЕЕМ ПОБЕЖДАТЬ!» Йес. А мы пахали. Надо ехать. Сквозь пробки — к звёздам. Хоть согреемся.

Уже из машины звоню в штаб, Ленусику:

— А последний пункт знаешь, какой будет?

— Какой? — Ленкин голос выбирает в мобильнике.

— На все пункты обвинения пытается искать оправдания. И — морщит нос!!!

Картина завершена. Закольцована. А кольцо, оно и в кампании кольцо.

Мы в оцепенении. Даже Андрон с Ираклием Геннадиевичем стали меньше курить. Избирком завернул нашу газету, не зарегистрировал — десять тысяч тиража лежат в штабе, около туалета. Оказывается, по новым правилам-законам необходимо, чтобы от каждого человека, используемого в кампании, — на фотографии ли, высказыванием в листовке, газете и т. п. — было письменное подтверждение, что человек этот согласен с подобным использованием его мощного авторитета. Мы, естественно, о законе этом знаем, и все добрые слова о Боброве у нас должным образом задокументированы. Но — Пеле! Великий бразильский футболист, сырник! Он не давал письменного согласия на использование давнего снимка. Более того, думаю, Пеле и не помнит, как во время поездки по России он снимался с блестящим от счастья Бобровым.

— Кто едет в Бразилию? — спрашиваю я пространство. Мысли о том, что тираж надорезать, у меня не возникает. С другой стороны, если пускать материал без регистрации, это означает верное снятие Боброва с дистанции. Так, пожалуй, и согреться не успеем.

— Я еду в Бразилию, — говорит Андрон.

Я думала, он любит пиво, а он, оказывается, предпочитает пошутить.

— Я подал протест, — говорит наш юрист Иван.

— Когда вопрос будет решён? — начальник, Андрон.

— Думаю, завтра вечером, — отвечает слегка удручённый Иван.

— Скажи, а если фотография будет с человеком, который уже умер, тоже нужно разрешение? — спрашивает Ленка.

— И в самом деле, хороший вопрос, — в глазах обыкновенно равнодушного Ивана зажигается огонёк — профессиональный интерес.

— А Пеле не умер? — с надеждой предполагаю я.

— Нет, он министр культуры и спорта Бразилии, — серьёзно говорит Андрон.

— Кстати, он сейчас, возможно, не в Бразилии. Я читал, что он болен и лечится в Америке, — вспоминает Ираклий Геннадиевич.

— Значит, надо ехать в Америку, — заключаю я. — Надо же, самый лучший материал гноят!

— Вот и включился административный ресурс, — печально кивает Ленка.

— Ждём до завтра, — принимает решение Андрон, — если не разрешают, Аня пишет статью-фельетон, даём через федеральные СМИ, а я пока информацию через интернет-средства запущу. Анна, готовь пресс-релиз.

Я седлаю компьютер. Пресс-релиз про губернатора-расиста оттрукиваю за десять минут. Люблю, когда борьба. Когда разоблачить кого-никого. Адреналинчик закипает. Не кипит пока — заваривается.

Сижу в бутербродной. У нас штаб состоит из четырёх основных помещений: комната для водителей с телевизором, бутербродная с чайником, комната консультантов с компьютерами, комната начальства с Андроном и Ираклием Геннадиевичем.

Итак. Сижу в бутербродной. У меня зреет мысль. Не вполне законная. Но. Мысль.

Бутерброда на исходе, когда это, исход то есть, произойдёт, комната станет простой чайной. А пока с Костей и Серёжей-водителем разминаемся колбаской и трёпом. Сплетничаем о Балу, ну, о Лёше-водителе, который все проезжающие машины ругает корытами и матом, если рядом нет женщин. Серёжа по образованию юрист, он недавно приехал с юга и пока подрабатывает на машине, у него весёлый взгляд и мягкий южный говор, который хочется потрогать. Костю на время отпустил Бобров, и он, вырвавшись из бархатных объятий, шумно пьёт чай. Спешит, боится, счастье кончится.

— Да, — говорю, — не хотела бы я оказаться с Лёшем в тёмном лесу.

— А что, изнасилует? — заинтересованно, Костя.

— Нет, — качает головой Сергей, — съест.

— Думаешь?

— Точно съест. И не по злобе. А просто потому, что кушать будет хотеть.

— Балу, он такой, — кивает Костя, — хотя мне кажется, сначала изнасилует. Ань, ты береги себя.

Нашу изысканную беседу прерывает Ленка, зовёт смотреть окончательный макет буклета, ей наш макетировщик переслал. Ей и сразу в типографию. Процесс пошёл. Эх, такую бы активность да с начала бы кампании!

Хотя всё равно не догнали бы — соперник-то уже четыре года старушек продовольствием заваливает, да и сейчас постоянно в телевизоре вещает, да плюс административный ресурс. Нет, не догнали бы, но всё же, всё же.

Смотрим буклет в распечатке, Ленка даже склеила книжечкой, чтобы смотрелся как натуральный. Красота необыкновенная. Детективы от Боброва (он у нас немножко силовик), семейные легенды от Боброва, фотографии из архива. Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография. Барабаны, молчите! Страшная, страшная сила.

Фото Боброва с женой. Подпись «С ЛЮБИМЫМ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». Три человека в будёновках. Подпись «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». Фото Боброва, сжимающего решётку ограды. Подпись «Послание нерадивым чиновникам: Считаю до одного. Кто не спрятался, я не виноват».

И вдруг — крик Кости:

- Лена! Это ЧТО?
- Что? — мы с Ленкой, хором.
- ЭТО?

Смотрим. Фото Боброва с дочерьми.

Подпись «МЫ ВЕРИМ В Т ЕБЯ». Именно так — буква «т» отдельно.

— Вы что, девчонки, с ума сошли? Это уже запущено?

- Уже в типографии.
- Остановить можно?

— Боюсь, что нельзя, — Ленка, остолбенело.

— Так же нельзя пускать, это же скандал, это же всё против нас сыграет, — Костя нервничает, не иначе как Бобров на подходе, Костя приближение кандидата шкурой чувствует. И точно — звонок в дверь офиса.

— Боброву не показывать, — предупреждаю, Ленка уже жмёт кнопки, дозваниивается до макетировщика.

Дозвонилась, сияет. Ложная тревога — это принтер неправильно распечатал, на макете всё как надо. Сидим, сдулись. Адреналин закипел, но сил уже не осталось. Ленка распечатывает макет ещё раз. Смотрим: опять то же самое: верим в т ебя. Ну не сырник ли?

— Ленка, — говорю, — мы сколько уже дома не были?

- Два месяца.

— Так это — подсознание. Вон ведь как — вылезло!

— Девушки, берегите себя, — говорит Костя и добавляет публичным голосом Боброва. — Не забывайте, что в этом городе на

каждого дворника приходится восемь чиновников, на каждого сантехника — шесть чиновников!

Какое беречь — мысль созрела и рухнула: бум-м-м!

Неправильность заразна. Точно. Все заразились от Ленки. Даже начальство в виде Андрона.

Сидим полночи. Из Интернета выудили нечто, смахивающее на бланк бразильского посольства. Вадик нашёл переводчицу с испанского — португальского здесь никто не знает. А есть ли он вообще, португальский язык? Под бланком посольства разместились следующие слова (на чисто испанском, школьном, наша «испанка» работает в школе): «Я, Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) не возражаю против использования моего имени и моей фотографии в избирательной кампании Боброва». Испанка не очень уверена в выражении «избирательная кампания», но мы решаем, что это не принципиально. Принципиально другое — подпись Пеле.

— О! — говорит Костя и исчезает.

Мы в три компьютера насилием Интернет. Подписи нет как нет.

— Может, он писать не умеет? Поставим крестик, — предлагаю я, понимая, что это мимо.

Вадик тренируется, расчёркиваясь на чисто испанском: Пеле, Пеле, Пеле. Костя приносит кофе.

— Нас всех тошнит, — цитирует Ленка и уточняет: — от кофе.

— Смотри! — радуется Костя.

Смотрим. Победа! Мы победили! Кофе «Пеле». Под обращением к российскому покупателю — росчерк. Это подпись великого футболиста.

Кофе высыпаем в цветочный горшок, другую тару искать некогда. Жестянную банку режем, разгибаляем, запихиваем в сканер. Есть!

Документ из бразильского посольства посылаем сами себе по факсу.

Андрон доволен.

— Сделайте мне копию без подписи, — просит он, — а факс завтра с утра — Ивану. Пусть несет в избирком.

Пеле, люби нас так, как любим мы тебя!

Опять едим. Опять в «Островке». Опять фаршированные перцы. У Ленки и у меня. Костя заказал рыбу. Еда — один из важных элементов жизни. И, соответственно, кампании.

— Знаете, как они меня называют? — спрашивает Костя.

«Они» — это Андрон с Ираклием Геннадиевичем.

— Как? — Перцы горячие, прямо из печки.

— Представляете, звоню Андруну, трубку снимает Геннадиевич и зовёт: Андрон, иди, тебе «Берегите себя» звонит, — радуется Костя.

— А он разве не уехал на свою конференцию? — удивляется Ленка.

— Поговорил со мной и тогда только уехал, — важничает Костя.

Появляется Вадик. От него пар, как от перцев, — на улице под тридцать.

— Был на встрече с экстрасенсом, — до кладывает Вадим. У него на свитере много белых ворсинок от пуховика.

— Ты что, спал с собакой? — спрашиваю.

— Каков диагноз? — спрашивает Ленка.

— Значит, так. По порядку. Сила поля нашего округа одна целая и восемь десятых.

— Чего? — спрашивает Костя.

— Неважно. Важно другое. Сила поля Рыгалова — ноль целых семь десятых.

Рыгалов — наш основной соперник, креатура губернатора.

— А сила поля нашего кандидата — два с половиной.

— Чего? — пытаются добиться Костя.

Вадик спокоен, он всегда спокоен:

— Чего-то. Так вот, получается, что Рыгалов слишком слабый для округа, а наш — слишком сильный.

— Ему бы в Госдуму, — соглашается Костя, в мечтах он уже стал помощником депутата Госдумы и ездит в метро бесплатно, плюс другие привилегии.

Костя бывший военный, поэтому у него некоторые проблемы с самоидентификацией, а если по-русски, то просто нужна постоянная стационарная работа. И чтоб платили побольше. А лучше — еще больше.

— Так что же делать? — Ленка, как всегда, подходит к проблеме практически.

— Эта экстрасенс предлагает два варианта. Первый — снизить поле нашего кандидата. Для этого его надо запрограммировать. Меня, кстати, уже запрограммировали.

— И что ты теперь будешь делать? — Судьба Вадима мне интереснее, чем поле кандидата.

— Пока не знаю, программа начнёт действовать через неделю. Так вот, а путь вто-

рой — это повысить силу поля округа. Для этого нужно, чтобы за три дня до выборов двенадцать экстрасенсов начали из разных точек города преобразовывать силовое поле. — Вадик, между прочим, по образованию математик-программист. Поэтому он так свято верит в силу программирования и около.

— То есть им нужны деньги на двенадцать человек, — подводит итог практичная Ленка.

— Именно, — кивает Вадим.

— Не дадут, — уверен Костя, — раз уж на обычное жмут.

— Надо рассказать кандидату, он внушаемый, — не сдаётся Вадим.

— Ему понравится, что у него такое сильное поле, — предполагаю я.

— Всё равно не дадут.

— Пойду расскажу. — Вадим быстро додедает, расплачиваются и, схватив портфель и пачку с буклетами, бросает нас с Ленкой за кофе с пирожными, а Костю за бокалом сухого красного.

Задумчиво глядя на закрывающуюся дверь кафе, Костя спрашивает:

— Ань, у него обе руки заняты?

Киваю.

— Отлично. — Отставив винцо, Костя быстро жмёт на кнопки мобильника.

— Алло, Вадим?

— ...

— У тебя обе руки заняты?

— ...

— А чем же ты тогда телефон держишь?

Газету с Пеле избирком разрешил. Ну и билборды. Факс из посольства положил конец прениям. Губернатору — наш физкульт-привет!

Около билбордов из верных людей выстраиваем мизансцены. Диалог примерно такой:

— А кто это на плакате рядом с Бобровым?

— Вы что, не знаете?? Это же Пеле!

Агитаторов мало, газеты по ящикам распихивают все, в том числе ударная группа из родственников кандидата. Я выдерживаю полдня, далее, сославшись на абсолютно неотложный креатив, сваливаю в штаб. Там уже Вадим. Сидит, кропает контрлистовочку на Рыгалова-супостата.

Напрасный труд! Контра требует денег больше, чем обычное разносолово. А если денег нет и меньше, то откуда им взяться больше? Мы с Костей уже предлагали кучку проектов. Увидев сметы, Андрон чуть с ума не

сошёл. Зарубил, соответственно. А что он думал? Контра — это дорого, за контру можно и по голове получить.

**Всего лишь несколько предложений,
за воплощение которых
можно получить по голове:**

- Первую полосу буклета Р. клеить намертво на лобовые стёкла автомобилей округа (в finale кампании);
- На появляющихся плакатах Р. в слогане «Мы + Р.= победа», заклеивать/зачеркивать слог «ПО»;
- Ночной телефонный обзвон с зачитыванием текста буклета Р. Или — с призывом голосовать за него накануне выборов;
- Рассылка «директ-мейла» — конверты как в директ-мейле Р., внутри — белый порошок. Одновременно — распространение слухов о том, что в конвертах — вирус сибирской язвы. Цели: дискредитация адресной рассылки как таковой; снижение эффективности работы соперника;
- Проект «Борис, ты не прав» — в день премьеры спектакля «Борис Годунов» раздача на остановках транспорта приглашений от Р., по которым избирателей в театр не пустят. Распространение слухов о происшествии;
- На расклеечных листовках Р. — по лицу слово ВОР.

Мы нежные и удивительные. Потому как всего этого, конечно, не сделали. Потому как мы предлагаем, а не располагаем. Не потому, что мы придурки, это как раз не помеха, это как раз в жилу, а потому, что финансовый ресурс не в наших руках. Мы до него даже дотронуться не можем. Жалкие просители мы в этой кампании. Эх, да что уж тут! Лучше лишний раз пообедать.

Водитель Серёжа буклет Рыгалова притащил. Глянцевый. И буклет, и Рыгалов. Читаем с Ленкой текст. Нет, не читаем — зачитываемся. Ведь самое сладкое — найти прокол у коллег-супостатов. Сладость эта равна по величине разве что горечи по собственному зарубленному тиражу. Из-за мелочи какой-нибудь, пустячка.

(Однажды измельчили в конфетти триста тысяч четырёхполоски — и я, и все мы, и две корректорши (одна, кстати, спец по вычитыванию заголовков) пропустили маленькую, скромненькую опечатку. В заголовке вместо «**ОТ ВЫЖИВАНИЯ К БЛАГОПОЛУЧИЮ**»

было набрано «**От благополучия к выживанию**». И, между прочим, набранный вариант куда как точнее отражал экономические тенденции той несчастной области, где мы тогда работали.)

Так, шарик Рыгалов в военной форме. Это на сборах в институте, в армии он точно не служил. Таких туда не берут. Грамотные у него технологии, раз решили этакой бравости своему банкирчику добавить. Наверняка и про спорт что-то будет, хотя нашего Пеле им не переплюнуть, точно. Ага, вот.

— Хобби: лыжи, волейбол, спортивные танцы. Имеет прыжки с парашютом, — зачитывает Леночка вслух. Такое надо повторить.

— Имеет... прыжки... — давится Ленка.

— А вдруг, это они... его... имеют? — умираю я.

Начинаем трястись. ВМЕСТЕ. Хорошее слово, идеальное сырьё для слоганов.

И Вадик доволен. Листовка удалась. Это объявление о «встрече». Текст: «45 числа г-н Рыгалов приглашает избирателей на встречу в столовой № 98. СРЫГНЁМ ВМЕСТЕ!» Искусство для искусства.

Приходит Иван. Он мрачнее тучи:

— У нас неприятности, — говорит. Даже пальто не снял!

— Аня, суши сухари, — говорит.

— Почему это?

— Факс от Пеле ты делала?

— Ну?

— Рыгалов подал в суд за подлог. Фальшивка, однако. Отдали на экспертизу.

Судорожно вспоминаю, остаются ли на бумаге отпечатки пальцев. Не помню! А на фактовой бумаге?

— Так я же вообще — никто!

— Уголовное дело, — качает головой Иван и решёткой складывает пальцы. — Международный скандал.

Самоотверженная Леночка обнимает меня и дует в ушко. Она готова вместе идти на Голгофу, в тюрьму, в ссылку:

— Я люблю сухарики чёрные, с солью. А ты?

— А я ванильные с изюмом, — отвечаю.

Что за хрень? Подлог?

Бобров обещает включить все свои связи. Верится с трудом. К тому же на самого Боброва тоже вешают дело (административный, сырник, ресурс!) об избиении корреспондента вражьего тики. А он никого не избивал, просто погнался за рыгаловским засланцем, когда тот пришёл срывать встречу кандидата в депутаты с инвалидами, догнал того в туа-

лете. Паренёк не успел закрыться, и Бобров его стукнул так, что рыгаловец сел на унитаз. На Боброва и подали в суд, хотя свидетелей нету, и отпечатков тоже нету, наверное, не то что на моём факсе.

Одно к одному. И придурки — йок. Позвонил Нур, который изобрёл шар, и сообщил, что ТВ-продюсеры категорически отказываются от сериала про выборы. «По меньшей мере до президентских баталий» — так сказал Нур. Демократия с русским акцентом. А мы — мы всё-таки они.

Почему?

Да потому, что ездим по стране, бросая родимый дом на два-три месяца, по несколько раз в году, потому что вкалываем эти три месяца, как кони. Потому, что дочь фальшиво поёт из «Генералов песчаных карьеров»: «...в моих мечтаньях детских золотых материнств иногда являлась мне...», строя многозначительные гримасы, которых я не вижу, ведь общаюсь с деткой всё больше по телефону.

Потому, что мы свободны. Так, как не свободен ни один из тех кандидатов, на которых мы работаем (хотя там, в туалете, Бобров был, наверное, тоже свободен. Жаль, что поле так и не удалось отстроить!).

Мы СВОБОДНЫ. Мы даже говорим громче обыкновенного. Мы — птицы. Перелётные птицы-придурки. Птиц иногда сажают в клетки. Всякие умники. Я не хочу в клетку. Я делала не фальшивку, а произведение искусства.

— Где Андрон? — мчусь к Ираклию Геннадиевичу.

В конце концов, они начальники. Им и сидеть. Андрону, так и быть, в камеру дам словарь иностранных слов. Пусть подучится.

— Андрон в Бразилии, — отвечает Ираклий Геннадиевич. — На конференции.

Андрон вернулся. Загорелый. Усы выгорели.

Докладывает Иван. Про сухари. Андрон слушает, кивает головой удручённо. Глядя в измученные наши лица, расстёгивает портфель. Он не спешит, молчит — да и что тут скажешь? Что воля, что неволя... Из портфеля Андрон достаёт знакомую бумагу, она почти не помялась. Это дубликат злополучной расписки великого далёкого Пеле.

— Специально для Анны, — усмехается Андрон и издалека показывает мне мерзкий листок.

Я близорукая, ничего не вижу, лезу в сумку за очками.

Прозреваю. Ну и?

— Ну и? — спрашиваю и цепенею.

На бумаге стоит **ЖИВАЯ** подпись. Это подпись Пеле.

— Он... согласился?

— Его никто и не спрашивал, — качает головой Андрон.

— А...

— Я просто взял автограф. У великого, так сказать.

— С меня пиво, — это всё, что приходит в голову в этот момент. Момент истины? Да нет — самой высокой свободы. У свободы ведь несколько уровней.

— Что ж с тебя ещё возьмешь? — скептически щурится Андрон.

И действительно — что?.. Что есть у однокого райтера? Только слова... Слова? Слова! Среди которых много редких!

Стоп! Стоп, Анечка! Имей милосердие — этот человек с усами цвета недоспелой пшеницы спас тебя. От изучения российской пенитенциарной системы. На вербальном, визуальном и тактильном уровнях.

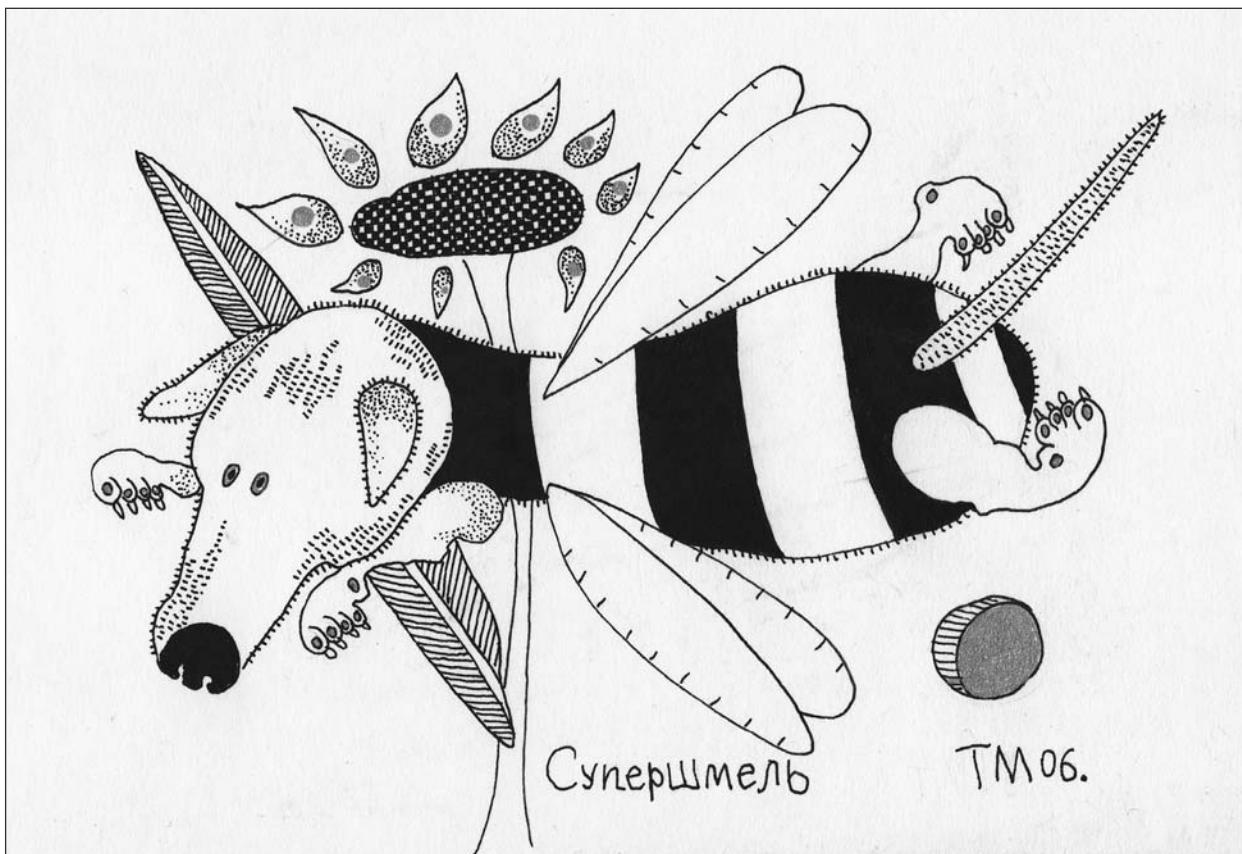
— Два пива, — уточняю я.

...МЫ УМЕЕМ ПОБЕЖДАТЬ. А бронза — тоже результат. Для нас, политтехнологов. С нуля мы взяли пятнадцать процентов, это не позор. Бобров безутешен и судится с Рыгаловым. Тот и впрямь спятил со своим административным ресурсом. В общежитии, где проживало без малого пятьсот человек, проголосовало семьсот пятьдесят восемь. Перебор, г-н Р., выборы — это ж не прыжки с парашютом. С Бобровым, в свою очередь, судится парень из туалета.

Ну да плевать. Я же свободна, я снова дома. Москва, ты всё-таки существуешь.

...Каждое утро в шесть утра я вскакиваю и оглядываюсь. Пытаюсь понять, где я. Ведь мне срочно — опаздывать нельзя! — нужно мчаться в типографию. Выкупать тираж.

ПРИДУРКИ ВСЕХ СТРАН, милые, **БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!** Ну и конечно, соединяйтесь. В Бразилии, ест-ст-но. Время встречи — шесть утра. Тему встречи изменить нельзя.



Татьяна Морозова родилась в Москве. Профессии: продавец счастья, литературный критик-журналист, беллетрист, художник, спичрайтер, PR-менеджер и политтехнолог широкого профиля.

Рассказы выходили в «женских» и других сборниках («Новые амазонки», «Брызги шампанского», «Площадь Свободы»), в журналах «Согласие», «Новая Юность», «Сельская молодёжь», в еженедельниках. Есть переводы на немецкий язык.

Как литературный критик публиковалась в «Литературной газете» (основная трибуна), «Независимой газете», газетах «Сегодня» и «Алфавит», журналах «Дружба народов», «Новый мир» и др. Темы: массовая литература (детектив, триллер, шпионский роман, мелодрама) и современная литература. Плотно занималась теорией и практикой мелодрамы. В «ЛГ» выходила «Методика написания любовного романа». По чётким канонам жанра написала мелодрамы «Три грации», «Парфюмерша», «Дочь президента».

Окончила Литературный институт, семинар прозы. Член Союза писателей.

Занималась книжной графикой. Оформляла книги — «Новые амазонки», Хаксли «Как вернуть зрение», Ефим Шифрин «Театр имени меня», «Энциклопедия. БАЛЕТ в историях, сплетнях и анекдотах».

С 1989 по 2008 г. состоялось восемь персональных и две коллективные выставки. Последние годы работала в сфере политконсалтинга.

**Фонд памяти Марии Башкирцевой (1858–1884) приглашает
к сотрудничеству по созданию музея-галереи всемирно известной
русско-французской художницы и мемуаристки**

Мы уже подготовили и издали солидный альбом «Избранница судьбы Мария Башкирцева», сопровождаемый статьями ведущих искусствоведов и критиков России, Франции, Украины и США (2008), а также материалы научной конференции, прошедшей на родине художницы в Полтаве (2010).

Снят фильм о Марии Башкирцевой (реж. Анна Шишко). Двумя изданиями вышел перевод книги Колет Коснье «Портрет без ретуши» (1985, перев. 2004, 2008).

Переведена дилогия французского писателя Альберика Каюэ «Жизнь и смерть Марии Башкирцевой» (1933). Готовится публикация полного текста знаменитого «Дневника» Марии Башкирцевой в серии «Литературные памятники».

Ряд встреч, конференций и экспедиций позволили нам обнаружить утерянные картины, рисунки и личные вещи художницы.

Если вы готовы к сотрудничеству, пишите нам: tshvets@list.ru

Продолжающееся издание
Литературный журнал «Человек на Земле»

Издатель и редактор-составитель
Т. В. Сурганова coramail@yandex.ru

Художественный редактор
Вивиан дель Рио www.viviandelrio.ru

Фоторедактор **А. В. Блюмин** shlublum@gmail.com
Корректоры **Т. С. Бычкова, С. Н. Липовицкая**
Компьютерная верстка **С. В. Родионова**

Подписано в печать 12.05.2012
Формат 60x84/8. Печать офсетная
Кол-во усл.-изд. печ.л. _____ Тираж 900 экз.
Зак. _____
Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера»
163004 г. Архангельск,
Новгородский пр., 32
zakaz@ippps.ru

При перепечатке ссылка на журнал
«Человек на Земле» обязательна
Цена свободная